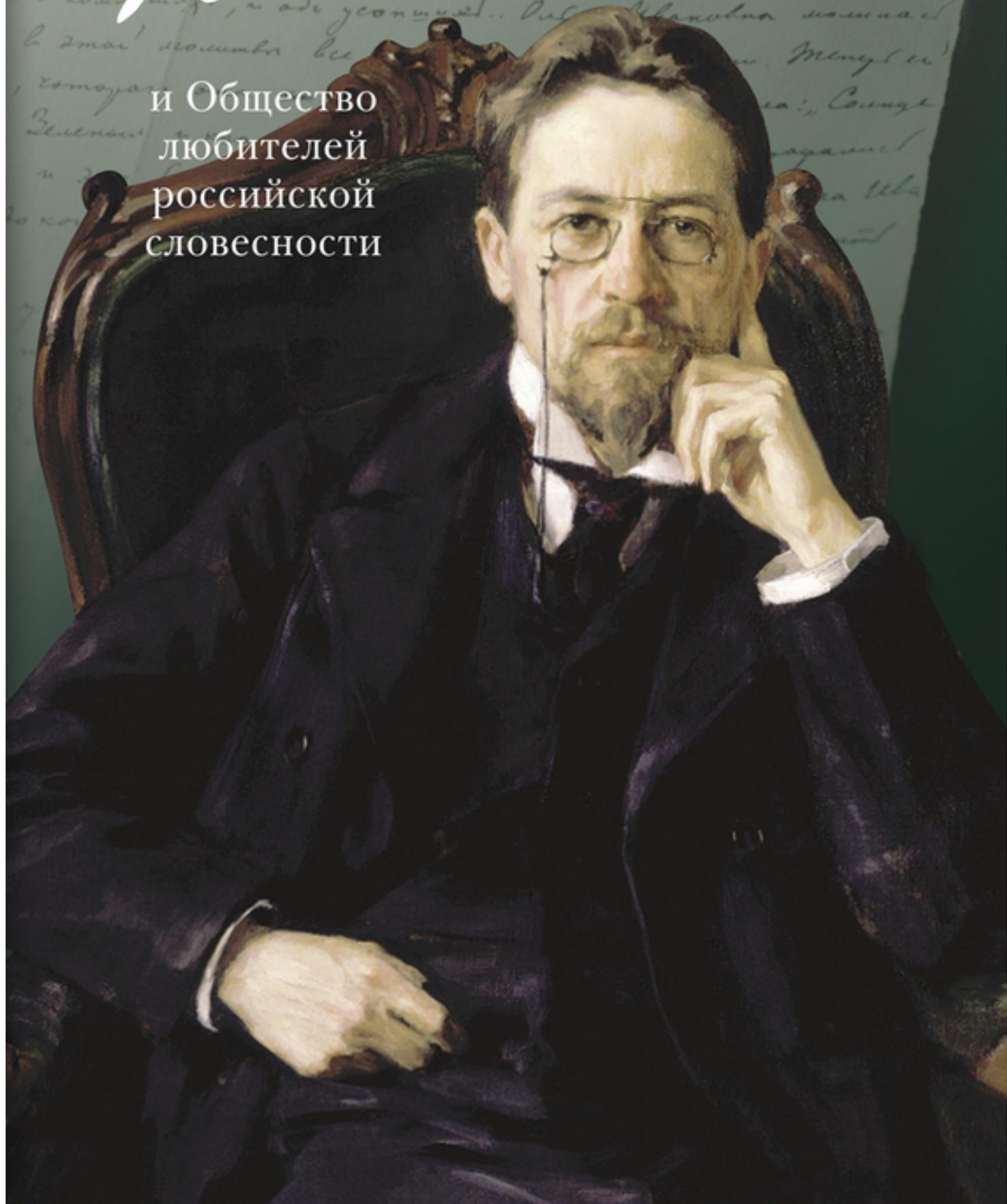


# А.М. Чехов

и Общество  
любителей  
русской  
словесности



Коллектив авторов

**Чехов А.П. и Общество  
любителей российской  
словесности (сборник)**

ТД "Белый город"

2015

УДК 82.09  
ББК 83.3 (2Рос-Рус)

### **Коллектив авторов**

Чехов А.П. и Общество любителей российской словесности  
(сборник) / Коллектив авторов — ТД "Белый город", 2015

ISBN 978-5-7793-2456-4

Книга «А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности» завершает цикл выпусков, посвящённых жизни и творчеству классиков русской литературы XIX века, бывших членами Общества любителей российской словесности. Созданное в 1811 году при Московском университете, оно просуществовало до 1930 года и было воссоздано усилиями современных выдающихся исследователей русской литературы в 1992 года. Сборник включает статьи, посвящённые осмыслению наследия А. П. Чехова, его влияния на мировую литературу, на отечественную общественную мысль, а также статьи о том, какими предстанут произведения писателя в сознании грядущих поколений. В сборник вошли материалы, которые характеризуют А. П. Чехова как члена ОЛРС (с 1889 года), а также статьи литературных критиков, его современников и сегодняшних исследователей его творчества, сотрудников мемориальных музеев. Книга вносит заметный вклад в популяризацию достижений отечественного литературоведения. Для преподавателей вузов, учителей-словесников, историков русской литературы, студентов и школьников, подлинных ценителей творчества великого мастера.

УДК 82.09  
ББК 83.3 (2Рос-Рус)

ISBN 978-5-7793-2456-4

© Коллектив авторов, 2015

© ТД "Белый город", 2015

## Содержание

К читателям	7
Часть I	9
Р. Н. Клейменова	9
В. М. Родионова	13
А. Г. Головачёва	19
Часть II	23
Ю. И. Айхенвальд	23
В. В. Каллаш	40
I	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

**Л. М. Кулаева**  
**А. П. Чехов и Общество любителей**  
**русской словесности**

© ОЛРС, 2015

© Составитель Л. М. Кулаева 2015

© ООО «Белый город», дизайн обложки и макет, 2015

*Памяти Раисы Николаевны Клеймёновой посвящается*

## К читателям

Книга «А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности» завершает цикл выпусков, посвящённых жизни и творчеству классиков русской литературы, бывших членами Общества любителей российской словесности, созданного в 1811 году при Московском университете.

Первым председателем Общества был Антон Антонович Прокопович-Антонский (три Антона, как его звали друзья). Он был директором университетского Благородного пансиона, преподавал в университете естественную историю и согласился быть председателем Общества с одной целью – показать воспитанникам пансиона и студентам университета настоящих литераторов, помочь создать ту среду, в которой сможет развиваться российская словесность. Общество на протяжении всей своей истории не гонялось за славой, оно работало над проблемой создания «здоровой» словесности, стремилось подготовить почву, на которой легко «произрастают» таланты. Его члены всё делали для того, чтобы соединить народную культуру и дворянскую. Издавались фольклорные сборники, чтобы дворяне познакомились с культурой своего народа, а для народа – сочинения А. С. Пушкина. На заседания приглашались все желающие.

Наиболее заметными достижениями в деятельности Общества были издание Толкового словаря живого великорусского языка В. И. Даля, фольклорных сборников, организация торжеств по случаю открытия памятника А. С. Пушкину, сбор средств на памятник Н. В. Гоголю и организация торжеств в 1909 году по случаю его открытия. Последний председатель Общества П. Н. Сакулин в 1927 году, выступая на заседании, чётко охарактеризовал основную цель деятельности руководимой им организации: «В качестве научно-литературного общества мы разом живём прошедшим, настоящим и будущим. Зачем люди обращаются к прошлому? Какой в этом смысл?» И дальше: «Ответить можно по-разному. Но, думается, что, обращаясь к наследию писателей, поэтов и многих-многих других достойных соотечественников, мы „умножаем“ их жизни, данные им судьбою, и одновременно мы умножаем и собственные жизни. Ради этого стоит обращаться к прошлому и делать всё, что в наших силах, чтобы сохранить память об этом прошлом для наших потомков».

Общество любителей российской словесности, воссозданное в 1992 году, следовало традициям своего предшественника. На заседаниях речь шла о современных филологических проблемах как в XX веке, так и в начале XXI. Помогала в этом вышедшая в 2002 году монография Р. Н. Клеймёновой «Общество любителей российской словесности. 1811–1930». Монография сыграла весьма заметную роль в объединении вокруг Общества талантливых исследователей русской культуры, знатоков и ценителей литературного творчества.

В 1999 году выпуском, посвящённым юбилею А. С. Пушкина, Общество начало издание сборников, освещающих современное состояние исследования творческого наследия классиков русской литературы. Отмечая, что в филологической науке накоплен огромный духовный потенциал, ОЛРС небезуспешно призывало всех заинтересованных в сохранении русской словесности к регулярному взаимообогащающему общению. Вслед за первым в свет вышли сборники, посвящённые Н. В. Гоголю, В. И. Далю, И. А. Бунину, Л. Н. Толстому, И. С. Тургеневу, Ф. М. Достоевскому.

Цель сборника «А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности», как и прежде изданных, – показать читателям русскую литературу в прошлом, настоящем и через настоящее в будущем, дать почувствовать через литературу связь времён, в том числе и то, какую роль в этом сыграло Общество любителей российской словесности. Нынешнее Общество по мере сил следует традициям прежнего, у истоков которого стояли многие и многие выдающиеся деятели московской интеллигенции, в познании и популяризации российской

словесности. О «прошлом» это – статьи Р. Н. Клеймёновой и В. М. Родионовой, рассказывающие об избрании А. П. Чехова временным председателем Общества, о переписке и встречах с братьями Веселовскими, активными членами Общества, а также литературоведческие статьи современников А. П. Чехова – Ю. И. Айхенвальда и В. В. Каллаша. О «настоящем» это – значение исследования наследия писателя для сегодняшнего дня: насколько он близок современному читателю, насколько сохранилась связь времён. О «будущем» это – статьи об изучении творчества А. П. Чехова в учебных заведениях: будет ли он так же востребован нашими потомками, как и его современниками.

Авторами сборника, по большей части, являются члены возрождённого в 1992 году Общества любителей российской словесности, профессора и доценты ведущих вузов России, а также учителя гимназий и музейные работники.

Все произведения А. П. Чехова цитируются по Полному (академическому) собранию сочинений и писем в 30 т. (2-е стер. изд. М.: Наука, 2000–2008). В тексте в квадратных скобках указаны том и страницы, серия сочинений обозначена «С», серия писем – «П».

## Часть I

### **Р. Н. Клеймёнова** **А. П. Чехов и общество любителей** **русской словесности**

В Москве при университете с 1811 по 1930 годы (с перерывом с 1837 по 1858) существовало Общество любителей российской словесности, членами которого были многие известные писатели. При организации Общества была поставлена цель – создание образцовых произведений. Во второй половине XIX века цель была другая – способствовать развитию словесности и распространению знаний о ней. Общество было устремлено в прошлое, в изучение архивов, в их собирание и одновременно наблюдало за современным литературным процессом. На заседаниях постоянно говорилось не только о важности изучения прошлого литературы, но и о необходимости сбора материалов о своих современниках, о значении этих материалов для дальнейшего изучения русской культуры. Общество никогда не выступало с резкой критикой творчества того или иного писателя. Оно признавало талант своих современников, но окончательную оценку оставляло на потом. Открытые заседания посещались представителями всех слоёв населения. Произведения писателей-современников не раз звучали на его заседаниях. Среди них были сочинения И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, А. П. Чехова и др.

Общество любителей российской словесности не бежало впереди литературы, оно неспешно следовало за ней, собирая материалы, архивы, систематизируя, расставляя всё по своим местам. Путь Общества – это один из путей познания становления русской литературы, русской культуры, общественной мысли.

А. П. Чехов был избран действительным членом Общества 16 марта 1889 года, по предложению Н. И. Стороженко. На его заседаниях он, однако, так и не появился, хотя Общество старалось вовлечь его в свою жизнь. Но, как отмечал секретарь Общества В. В. Каллаш<sup>1</sup>, «живя в Москве только наездами, он сначала мог принимать мало участия в <> [его] деятельности. Что он относился к ней сочувственно, можно видеть из следующих фактов. Во-первых, в архиве Общества сохранилось его письменное согласие на изменение Устава (от 23 ноября 1889 года), во-вторых, он дал для прочтения на заседании свой рассказ «Бабье царство», отрывок из которого 19 декабря 1893 года читал за отсутствием автора И. А. Линиченко. И в первом сборнике «Почин» (1895), изданном Обществом любителей российской словесности, опубликован рассказ Чехова «Супруга» (С. 279–285).

В протоколе заседания Общества от 11 октября 1903 года записано, что А. П. Чехов выбран единогласно временным председателем. В этом выразилось «желание Общества, чтобы во главе стоял рядом с выдающимися представителями науки также знаменитый художник слова». Секретарь В. В. Каллаш отправил Чехову в Ялту официальное извещение об избрании. Но он отмечал впоследствии: «Я настолько любил Чехова, как писателя, что в моём официальном извещении невольно проскользнули несоответствующие ему лирические ноты»<sup>2</sup>. Членам Общества было известно, что Чехов болен, но, по ходившим в Москве слухам, предполагалось, что здоровье его «поправилось» и что «он собирается провести зиму в Москве». При выборах Чехова временным председателем «никто, конечно, не думал,

---

<sup>1</sup> Русская мысль. 1905. № 8. С. 72.

<sup>2</sup> Каллаш В. В. А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности // Русская мысль. 1905. № 8. С. 72–74.

что Чехов будет в состоянии принимать постоянное участие в занятиях Общества, – всем хотелось, чтобы он стал ближе к нам, чтобы его имя объединило около Общества лучшие московские литературные и в особенности беллетристические силы»<sup>3</sup>.

Каллаш долго не получал ответа на своё извещение. Из газет он узнал, что А. П. Чехов приехал в Москву. Тогда он послал второе извещение. В ответ он получил от А. П. Чехова письмо (от 12 декабря 1903 года) с согласием на избрание его временным председателем. Чехов писал: «Письмо Ваше я получил в Ялте своевременно, не отвечал же так долго по той причине, что Вы не сообщили мне ни Вашего адреса, ни Вашего имени-отчества. Я написал письмо В. А. Гольцеву с просьбой сообщить мне немедленно Ваш адрес, но ответа от него не получил. <...> Вчера я послал ответ А. Н. Веселовскому. Я написал ему, что о согласии моём или несогласии не может быть и речи, я очень рад и счастлив...» [П. 11, 360]. В упомянутом письме Чехова к Алексею Николаевичу Веселовскому (брату председателя Общества), в частности, говорилось: «Это избрание – честь <...> быть может, я мог бы пока быть полезен Обществу по издательской деятельности, мог бы редактировать, читать корректуру...» [П. 11, 360]. Каллаш не сомневался, что желание Чехова помогать в издательской деятельности «не было фразой». Своё предложение Чехов повторил и во время переговоров с членами Общества.

Но вскоре А. П. Чехов вынужден был отказаться от звания временного председателя Общества. На заседании 16 января 1904 года обсуждался отказ А. П. Чехова от должности товарища председателя. Решено «выразить сожаление» и избрать В. А. Гольцева, редактора журнала «Русская мысль»<sup>4</sup>. На этом же заседании Общество решило участвовать в чествовании А. П. Чехова-драматурга совместно с Художественным театром. Каллаш писал, что Чехов «счёл себя вынужденным временно отказаться от должности... Тогда же была выбрана особая депутация (в неё вошли А. Н. Веселовский, В. А. Гольцев и я), которая должна была на следующий день в Художественном театре приветствовать Чехова по поводу постановки «Вишнёвого сада» <...> Горячие приветствия публики и депутатий, видимо, очень тронули Чехова. Утомлённый и измученный, он выслушивал их стоя, несмотря на общие просьбы сесть, и в его милых, трогательно-печальных глазах светилась тихая радость слишком позднего нравственного удовлетворения...»<sup>5</sup>.

Надежды на зиму 1904/05 года не сбылись, судьба хотела другого, и Обществу осталось почтить память своего минутного временного председателя торжественным публичным заседанием (24 октября 1904 года) и изданием особого Чеховского сборника...

В письме к Алексею Николаевичу Веселовскому от 2 февраля 1904 года Чехов благодарил за выраженное доверие и обещал будущей зимой «быть возможно полезным Обществу» [П. 12, 33]. О письме было сообщено на заседании 13 февраля 1904 года<sup>6</sup>.

30 сентября в протоколе заседания Общества появилась запись: «Умер А. П. Чехов. Возложен венок от ОЛРС...»<sup>7</sup>. Сразу же было принято решение провести публичное заседание, посвящённое его памяти. Общество почтило память своего минутного временного председателя торжественным публичным заседанием 24 октября 1904 года. Казначей А. Е. Нос к заседанию заказал большой фотографический портрет Чехова. Председатель А. Н. Веселовский сказал вступительное слово, сделали доклады Ю. И. Айхенвальд («Некоторые мотивы творчества Чехова»), И. А. Бунин («Воспоминания о Чехове»), П. С. Коган («Чехов

---

<sup>3</sup> Каллаш В. В. Там же. С. 72.

<sup>4</sup> ОР РГБ. Ф. 207. П. 14. № 43. Л. 2.

<sup>5</sup> Каллаш В. В. Чехов и... С. 74.

<sup>6</sup> ОР РГБ. Ф. 207. П. 14. № 46. Л. 16.

<sup>7</sup> ОР РГБ Ф.207. П.14. № 52. Л. 5.

в ряду европейских юмористов»). Прозвучали прочитанные А. А. Федотовым и А. И. Сумбатовым рассказы А. П. Чехова «Человек в футляре», «Учитель» и «Детвора»<sup>8</sup>.

На том же заседании секретарь В. В. Каллаш предложил издать Чеховский сборник. Предложение было принято. Гольцев посоветовал издавать сборник меньше по размерам и возможно дешевле. До того как были определены задачи Чеховского сборника, Каллаш обратился 5 марта 1905 года от имени Общества во все издания, где дебютировал А. П. Чехов, «с просьбой сообщить все имеющиеся данные по этому поводу»<sup>9</sup>. На основе присланных материалов Каллаш написал статью «Литературные дебюты А. П. Чехова», которую представил для сборника вместе с другой статьёй – «Отношения А. П. Чехова и Общества любителей российской словесности». Делали сборник Ю. И. Айхенвальд, А. Е. Грузинский и П. Н. Сакулин. Они решили вторую статью Каллаша принять, «изменив редакцию нескольких мест статьи, чтобы она могла пойти от имени всего Общества без подписи автора». Первую статью отклонили, так как она была «неподходящая к общему замыслу сборника. Сборник должен был состоять из воспоминаний и одной общей статьи»<sup>10</sup>. Было отказано Н. Ф. Сумцову в помещении в сборнике двух статей: «Скучная история» и «Человек в футляре». Грузинский писал Сумцову: «Сборник подбирается не научно-критического, а поминального характера и будет состоять из личных воспоминаний и одной общей характеристики его творчества в целом»<sup>11</sup>.

Каллаш 27 апреля предложил при Чеховском сборнике дать неизданный портрет молодого Чехова, выделенный фотографом Павловым из группы писателей (конца 80-х годов), и второй портрет, более поздний<sup>12</sup>. Общество разослало предложения прислать воспоминания о Чехове всем, кто его близко знал. У Михаила Павловича Чехова просили разрешения перепечатать в сборнике его статью из июльского номера «Журнала для всех», на что он дал согласие в письме от 14 сентября 1905 года<sup>13</sup>. Мария Павловна Чехова в ответ на предложение прислать для сборника переписку семьи ответила телеграммой: «Прислать не могу. Подожду ещё год». А. И. Куприн вначале отказался. Он свои воспоминания «прочил» для общества «Знание», но потом прислал. В. Н. Ладыженский переработал статью, опубликованную в журнале «Мир Божий» (1905. № 4). В результате в сборнике были напечатаны вступительная статья В. В. Каллаша без указания его имени и статьи Ю. И. Айхенвальда, Мих. П. Чехова, И. А. Бунина, М. Горького, А. И. Куприна, В. Н. Ладыженского, А. М. Фёдорова.

Смета была составлена 8 ноября 1905 года в типографии А. И. Снегирёвой в Москве (Остоженка, Савёловский пер., собственный дом)<sup>14</sup>. 26 ноября 1905 года А. Е. Грузинский представил первые листы Чеховского сборника, а 13 февраля 1906 года отчитался о вышедшем сборнике под названием «Памяти Чехова». После выхода сборника М. П. Чехов в благодарственном письме за полученные 10 экземпляров книги восклицал: «Какая прекрасная книга!» 16 октября 1906 года на заседании Общества докладывалось о письме г. Фомина с предложением Обществу напечатать составленную им чеховскую библиографию. Постано-

---

<sup>8</sup> ОР РГБ. Ф. 207. П. 14. № 52. Л. 7.

<sup>9</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 15. № 3. Л. 1 об.-2.

<sup>10</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 15. № 3. Л. 1 об.-2; № 4. Л. 3.

<sup>11</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 15. № 7. Л. 6 об.; № 4. Л. 3; П. 31. № 140. Л. 6. 5 сент. 1905 г.

<sup>12</sup> ОР РГБ. Ф. 207. П. 15. № 7. Л. 6 об.

<sup>13</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 15. № 4. Л. 3.

<sup>14</sup> Тираж сборника составил 1500 экз., набор листа циперо. Решение о тираже 1500 экз. было принято 8 сентября 1905 года, редактором назначен Грузинский. 10 ноября 1905 года было сообщено, что сборник печатается, склад для тиража сделан в помещении журнала «Русская мысль» и у Карбасникова, даны объявления о сборнике, цена назначена 1 руб., скидка для книгопродавцев составила 30 % // О Р. РГБ. Ф. 207. П. 15. № 10. Л. 1.

вили просить его прислать рукопись для напечатания в одном из будущих изданий общества. К сожалению, библиография не была опубликована<sup>15</sup>.

В своём отчёте за бурный 1905 год Общество упоминало, что оно «приняло участие в чеховских поминках 2 июля». В 1906–1907 годах Общество наряду с вопросом о создании благотворительного фонда для бедствующих русских писателей обсуждало и правила по «Чеховскому капиталу» при Литературно-художественном кружке. Для этого была создана специальная комиссия, в которую вошли члены ОЛРС А. Е. Грузинский, М. П. Розанов, В. В. Каллаш<sup>16</sup>.

А. В. Веселовский 27 сентября 1908 года доложил о том, что вместе с П. Д. Боборыкиным он присутствовал при открытии памятника А. П. Чехову в Баденвейлере и произнёс от Общества любителей российской словесности речь. 14 февраля 1909 года от В. В. Каллаша поступило предложение устроить в помещении Общества музей Чехова «для его автографов, портретов, литературы о нём и т. д.». В расходах на устройство музея согласились уже принять участие некоторые члены Общества. В организации его от семьи покойного писателя мог бы принять участие И. П. Чехов. Но это пока оставалось мечтой. 21 апреля 1912 года Общество решило передать в Румянцевский музей в организованную комнату Чехова все имеющиеся у него материалы<sup>17</sup>. В архивах Общества сохранилось свидетельство, что во время всероссийского сбора средств на памятник Гоголю Общество получило 25 рублей из города Сумы через А. П. Чехова.

---

<sup>15</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 51. № 8. Л. 4; П. 15. № 9. Л. 33 об.; № 10. Л. 1; № 22–27. Л. 1 об., 24 об.

<sup>16</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 15. № 30–36. Л. 13.

<sup>17</sup> О Р. РГБ. Ф. 207. П. 128. № 10–19. Л. 14.

## **В. М. Родионова** **А. П. Чехов и братья Веселовские**

Сначала – о Чехове и Александре Николаевиче Веселовском (1868–1906), русском филологе, историке литературы, родоначальнике исторической поэтики.

При многих внешних различиях (в начале 1880-х годов Веселовский – академик Российской академии наук, Чехов – студент медицинского факультета Московского университета; один воспитывался в дворянской семье с глубокими традициями дворянской культуры, другой – в семье бывших крепостных, много лет испытывавших материальную нужду; значительной была и разница в возрасте), тем не менее многое сближало их на основе культуры и литературы. Близкими были и их идеологические корни, заложенные учёбой в Московском университете, влиянием демократических идей шестидесятников, интересом к народной жизни и народной культуре.

Для Веселовского 1850-60-е годы (время предреформенное и время Крестьянской реформы) – это годы интереса к демократическим идеям, к работам Чернышевского, Герцена, Фейербаха, Бокля, к народной жизни; время, по его словам, тревожных раздумий и надежд. И для Чехова шестидесятые годы – «святое время», как он писал А. Н. Плещееву 9 октября 1888 года [П. 3, 21].

По окончании университета Веселовский всецело посвятил себя научным исследованиям. Чехов, как потом писал в Автобиографии, «уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах, и эти занятия литературой уже в начале восьмидесятых годов приняли постоянный, профессиональный характер» [С. 16, 270]. Но в те же студенческие годы он проявил интерес и к медицине как науке, и к практической стороне профессии. Он собрал много материала для научного труда «Врачебное дело в России», который мог бы стать диссертацией. Во время летней практики работал в Воскресенской земской больнице у известного земского врача П. А. Архангельского, какое-то время был врачом в Звенигородской больнице. Позднее, совершив поездку через Сибирь на каторжный остров Сахалин, написал очерковую книгу «Остров Сахалин» – своего рода дань оставленной диссертации.

«Не сомневаюсь, – отмечал Чехов в Автобиографии, – занятия медицинскими науками имели серьёзное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соотноситься с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе» [С. 16, 270].

Проблему науки и искусства Чехов рассматривал в единстве: «Знания всегда пребывали в мире. И анатомия, и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага – чёрта, и воевать им положительно не из-за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает ещё историю религии и романс «Я помню чудное мгновение», то становится не беднее, а богаче, – стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не воевали, и в Гёте рядом с поэтом прекрасно уживался естественник» [П. 3, 216].

Разносторонность знаний и научная новизна исследований Веселовского определили его авторитет учёного. Он был членом многих учёных советов в области сравнительно-исторического литературоведения, мирового фольклора в России и за рубежом. Чехов был избран в действительные члены Общества любителей российской словесности, Общества драма-

тических писателей и оперных композиторов, Московского общества грамотности, участвовал в работе Общества искусства и литературы и др., был избран почётным академиком Российской академии наук по Разряду изящной словесности.

Большая просветительская деятельность и Веселовского, и Чехова способствовала прогрессу России. Будучи уже академиком Российской академии наук, Веселовский продолжал читать лекции в университете и на Высших женских курсах в Петербурге. Чехов занимался проблемами народных школ и как член Московского общества грамотности, и как помощник предводителя дворянства Серпуховского земства по школьному делу; заботился о книжных фондах школьных библиотек на Сахалине, создал большой книжный фонд для библиотеки родного города Таганрога, на свои средства построил три школы в подмосковных деревнях и в свои последние годы поддерживал начальные школы в Крыму.

А. Н. Веселовский и А. П. Чехов – пропагандисты идей преобразователя России Петра I. По инициативе Чехова в Таганроге был воздвигнут памятник Петру I. Для обоих Пушкин и Гоголь – кумиры, колоссы русской литературы, отразившие коренные проблемы русской жизни.

На их художественный фундамент мог опираться А. Н. Веселовский, определяя понятие, что есть история литературы. «История литературы, в широком смысле этого слова, – подчёркивал он в своей первой университетской лекции, материал которой вошёл в состав его знаменитого труда „Историческая поэтика“, – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом»<sup>18</sup>. Чехов подписался бы под этими словами: основание этому – его творчество. Чехов оставил яркий след в художественном мышлении народа, в истории его нравственного и эстетического развития, в формировании его самосознания, в развитии просветительской мысли своего времени. М. Горький считал Чехова «...писателем из тех, что делают эпохи в истории литературы и в настроениях общества...»<sup>19</sup>.

В «Исторической поэтике» А. Н. Веселовский писал, отстаивая, по существу, положения В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, что литература должна отражать реальную жизнь, что каждое художественное произведение и наука о нём должны нести на себе печать времени. Развивал он и позицию теоретика «натуральной школы», отмечая: «...современная наука позволила себе заглянуть в те массы, которые до тех пор стояли позади их, лишённые голоса; она заметила в них жизнь, движение, неприметное простому глазу, как всё, совершающееся в слишком обширных размерах пространства и времени; тайных пружин исторического процесса следовало искать здесь, и вместе с понижением материального уровня исторических изысканий центр тяжести был перенесён в народную жизнь. <...> Историческая работа совершается снизу, великие люди принимают её из пелёнок, переживают сознательно...»<sup>20</sup>.

Эстетическая программа В. Г. Белинского была настоящей школой для Чехова. В честь великого критика он участвовал и в сборнике «Памяти Белинского» (М., 1899), опубликовав рассказы «Оратор», «Неосторожность», «В бане».

Один из главных тезисов «Исторической поэтики» Веселовского: «...каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности. <...> Это внутреннее обогащение содержания, этот прогресс общественной мысли в границах слова или устойчивой поэтической формулы должен привлечь внимание психолога, философа, эстетика: он относится к истории мысли». Учёный так определяет одну из задач, стоящих перед литературоведами: «проследить, каким образом новое

---

<sup>18</sup> Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. С. 41.

<sup>19</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М.: ГИХЛ, 1954. С. 71.

<sup>20</sup> Веселовский А. Н. Там же. С. 34.

содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие. Но это её идеальная задача, и я берусь только указать вам, что можно сделать на этом пути при настоящих условиях знания»<sup>21</sup>.

8 января 1900 года Чехов был избран почётным академиком по Разряду изящной словесности, учреждённому в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина. Ещё ранее, в 1888 году, Чехову была присуждена Пушкинская премия за сборник рассказов «В сумерках». Эти два решения принимались Отделением русского языка и словесности Российской академии наук в присутствии и при участии А. Н. Веселовского, в 1880 году ставшего академиком, а в 1899-м – председателем Отделения Академии наук.

Для А. Н. Веселовского не было проблемы, кого избирать в академики. Л. Толстой, Чехов, Короленко – вот первые «почётные академики» Академии наук после реорганизации Отделения русского языка и словесности в Разряд изящной словесности.

В это время авторитет Чехова огромен. Для современников он – непревзойдённый художник слова и выразитель идей своего времени. В январе 1902 года за пьесу «Три сестры» ему будет присуждена Грибоедовская премия.

К Чехову как к почётному академику от имени Академии наук дважды обращались академики М. И. Сухомлинов (1900) и А. Н. Веселовский (1901) с просьбой предложить кандидатов в почётные академики на очередное собрание академиков по Разряду изящной словесности. В письме к М. И. Сухомлинову от 3 мая 1900 года Чехов рекомендовал к избранию «Михайловского Николая Константиновича, Боборыкина Петра Дмитриевича, Спасовича Владимира Даниловича, Эртеля Александра Ивановича и Максимова Сергея Васильевича» [П. 9. С. 92]. Из предложенных Чеховым лиц были избраны С. В. Максимов и П. Д. Боборыкин.

А. Н. Веселовскому 5 декабря 1901 года Чехов писал:

*«Милостивый государь Александр Николаевич!*

*Имею честь предложить на имеющиеся вакансии почётных академиков следующих кандидатов: Михайловский Николай Константинович, Мережковский Дмитрий Сергеевич, Спасович Владимир Данилович, Вейнберг Пётр Исаевич.*

*Покорнейше прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в искреннем моём уважении и совершенной преданности.*

*Антон Чехов»* [П. 1, 144, 448].

В чеховских рекомендациях раскрылись его объективность и душевное благородство, особенно если вспомнить, что критик Михайловский в прошлом не раз высказывал резкие, порой крайне неприязненные суждения о творчестве Чехова 1880-х годов, да и оценки Мережковского во многом были Чехову чужды.

8 января 1900 года Чехов сообщал А. С. Суворину:

*«Здесь я часто выдаюсь с акад<емиком> Кондаковым. Говорим о Пушкинском отделении изящной словесности. Та к как К<ондаков> будет участвовать в выборах будущих академиков, то я стараюсь загипнотизировать его и внушить, чтобы выбрали Баранцевича и Михайловского. Первый, замученный, утомлённый человек, несомненный литератор, в старости, которая уже наступила для него, нуждается и служит на конно-жел<езной> дороге так же, как нуждался и служил в молодости. Жалованье и покой были бы для него как раз кстати. Второй же, то есть Михайловский, положил бы прочное основание новому отделению, и избрание его удовлетворило бы 3/4 всей литературной братии. Но гипноз не удался, дело моё не выгорело. Добавление к указу – это точно толстовское послесловие к «Крейц<еровой> сонате». Академики сделали всё, чтобы обезопасить себя от литерато-*

---

<sup>21</sup> Веселовский А. Н. Там же. С. 41.

ров, общество которых шокирует их так же, как общество русск<их> академиков шокировало немцев. Беллетристы могут быть только почётными академиками, а это ничего не значит, всё равно как почётный гражданин города Вязьмы или Череповца: ни жалованья, ни права голоса. Ловко обошли! В действ<ительные> академики будут избираться профессора, а в почётные академики те из писателей, которые не живут в Петербурге, то есть те, которые не могут бывать на заседаниях и ругаться с профессорами» [П. 9, 13–14].

25 февраля 1902 года в почётные академики был избран М. Горький, в тот же день баллотировался в почётные академики Алексей Н. Веселовский. Выборы Горького были отменены из-за негативной реакции Николая II.

6 апреля 1902 года Короленко в письме к А. Н. Веселовскому выразил своё отношение к произошедшему:

*«Мне кажется, что, участвуя в выборах, я имел право быть приглашённым также к обсуждению вопроса об их отмене, если эта отмена должна быть произведена от имени Академии. Тогда я имел бы возможность осуществить своё неотъемлемое право на заявление особого по этому предмету мнения, так как, подавая голос свой, знал о привлечении А. М. Пешкова к дознанию по политическому делу <...> и не считал это препятствием для его выбора. Моё мнение может быть ошибочно, но и до сих пор оно состоит в том, что Академия должна соотносываться лишь с литературною деятельностью избираемого, не справляясь с негласным производством постороннего ведомства <...>».*

*Выборы почётных академиков по существу своему представляют гласное выражение мнения Академии о выдающихся явлениях родной литературы. Всякое мнение по своей природе имеет цену лишь тогда, когда оно независимо и свободно. <...> Всякая человеческая власть кончается у порога человеческой совести и личного убеждения. <...> Смею думать, что это – величайшая опасность также для русской науки, литературы и искусства»<sup>22</sup>.*

Чехов и Короленко решили публично заявить о своём осуждении этого инцидента. Ряд лиц предпринимали попытки повлиять на Чехова, чтобы он отказался от задуманного выхода из Академии. Смеем предполагать, что и председатель Разряда изящной словесности академик А. Н. Веселовский также пытался повлиять на решение Чехова через академика Н. П. Кондакова, историка византийского искусства, знакомого Чехова по Ялте. Об их дружеских отношениях в Академии было известно. Кондаков систематически извещал Чехова о ходе выборов в почётные академики. Вот что писал он Чехову 12 марта 1902 года:

*«...Вчера было особое заседание (вчера – 11 марта) Разряда изящной словесности <...> посвящённое тому же инциденту с Максимом Горьким. Прочли высочайший выговор. Затем долго читали «Правила» и пытались подобрать другие, но так ничего не подобрали и с тем разошлись, что соберётся частная комиссия <...> считаю своим долгом просить не усугублять горечи какими-либо заявлениями, как можно понять из Вашего письма. <...> Отделению нашему и без того горько, и едва возникший и ещё совсем не устроившийся Разряд может быть совершенно расстроен и даже закрыт, если не дадут пройти времени и новому положению основаться» [П. 10, 558, 559].*

В подтверждение этого предположения – сообщение В. Г. Короленко от 10 апреля 1902 года: «Веселовский лично хотел назначить заседание в начале мая (не позже 15-го), но он ещё не знает, что скажет князь (который <...> 6 апреля, уже по прочтении моего письма, не позволил академику Маркову коснуться в общем собрании этого вопроса)»<sup>23</sup>.

Заседание состоялось 10 мая. 29 апреля Чехову было послано приглашение на него (РГБ). Но он не смог из-за болезни О. Л. Книппер выехать из Ялты. О заседании Чехова подробно информировал Ф. Д. Батюшков в письме от 11 мая 1902 года: «Председательство-

<sup>22</sup> Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1956. С. 337, 338.

<sup>23</sup> Там же. С. 340.

вал А. Н. Веселовский, который сначала хотел снять с очереди заявление Владимира Галактионовича, объявив, что ему известно личное мнение великого князя, но не формулировав его и сославшись на его болезнь. Однако, по настоянию Арсеньева и Шахматова, заявление <...> стало всё-таки обсуждаться, и председательствующий должен был подчиниться силе „разговора“ <...> Академии ли выступать цензором образа мыслей с полицейской точки зрения? <...> все выразили <...> желание снять с Академии ответственность за приписанное ей объявление» [П. 10. С. 506–507]. Из-за болезни великого князя Константина Константиновича очередное заседание перенесли на осень.

Однако Чехов и Короленко своего решения изменить не могли. В знак протеста они вышли из состава почётных академиков. 25 августа 1902 года из Ялты Чехов в письме А. Н. Веселовскому мотивировал свою позицию: *«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почётные академики. А. М. Пешков тогда находился в Крыму, я не замедлил повидаться с ним, первый принёс ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными. При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почётным академиком, то это извещение исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моём сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство же с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжёлому и прискорбному, а именно, почтительнейше просить Вас ходатайствовать о сложении с меня звания почётного академика»* [П. 11, 28].

4 августа 1902 года Короленко прислал Чехову копию своего письма в Отделение русского языка и словесности Императорской академии наук, в котором он подтвердил свою позицию, изложенную ранее в письме к А. Н. Веселовскому:

*Моя совесть, как писателя, не может примириться с молчаливым признанием принадлежности мне взгляда, противоположного моему действительному убеждению. <...> Я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за «объявление», оглашённое от имени Академии, в единственно доступной мне форме, то есть вместе со званием почётного академика <...> прошу <...> вместе с тем исключить меня из списков и более почётным академиком не числить. Вл. Короленко»<sup>24</sup>.*

Так в августе 1902 года прекратились официальные контакты Чехова и Короленко с Александром Веселовским. Ситуацию разрыва усугубили и публикации за границей: в Штутгарте в русском журнале «Освобождение» (1902 № 10. 2 ноября) в разделе «Сообщения и заметки» под заглавием «Заявление А. П. Чехова» и в Берлине одновременно с публикацией рассказа Короленко «Чудная» в берлинском издании Иоганна Рэде (1903) были напечатаны письма В. Г. Короленко и А. П. Чехова об их отказе от звания академиков<sup>25</sup>.

Сама же оценка Чехова как выдающегося писателя у академика Александра Веселовского измениться не могла. Она, бесспорно, отражена была и в позиции его брата – Алексея Николаевича Веселовского, профессора литературы Московского университета, председателя Общества любителей российской словесности при Московском университете.

С Алексеем Николаевичем Веселовским Чехов был знаком давно, они встречались и в Москве, и в Кисловодске [С. 17, 223]. В адресной книжке Чехова есть московский адрес Веселовского [С. 17, 184].

Алексей Веселовский, тогда ещё приват-доцент Московского университета, не без рекомендации брата, академика Александра Веселовского, привлекался Отделением рус-

---

<sup>24</sup> Там же. С. 346.

<sup>25</sup> Русское слово. М., 1904. № 19. 19 янв.-1 февр.

ского языка и словесности к участию в рассмотрении сборника А. П. Чехова «В сумерках» при баллотировке на Пушкинскую премию в составе трёх посторонних литераторов. В то время Чехов ещё не был знаком с Алексеем Веселовским.

Алексей Веселовский, став после Н. И. Стороженко председателем Общества любителей российской словесности, всегда дорожил мнением Чехова, члена Общества с 1889 года, не раз просил его дать рассказы в благотворительные сборники для поддержания авторитета Общества. Даже после «академического инцидента», 11 октября 1902 года, по его инициативе действительный член общества Чехов был единогласно при тайном голосовании избран временным председателем Общества. В газете «Русские ведомости» (1903. № 280. 12 октября) сообщалось:

«Избрание это было встречено выражением общего сочувствия, причём было высказано, что Общество желает видеть А. П. Чехова в составе своего бюро не только в воздаяние его литературной деятельности, но и для того, чтобы в его лице укрепить связи с художественной литературой» [П. 11, 321].

Чехов в благодарственном письме Алексею Николаевичу Веселовскому от 11 декабря 1903 года писал: «Это избрание – честь, неожиданная и незаслуженная, о какой я не мог даже мечтать <...> я весь принадлежу Обществу и был бы счастлив бесконечно, если бы мне удалось показать это не на словах только, но и на деле. <...> Будьте добры, напишите мне, когда я могу застать Вас дома. Я давно уже не видел Вас, мне хочется повидаться, поблагодарить лично и поговорить» [П. 11, 360].

Но Чехов по состоянию здоровья не мог принимать участия в публичных заседаниях Общества и просил дать отсрочку «на год или на два».

17 января 1904 года в Художественном театре впервые была поставлена пьеса Чехова «Вишнёвый сад». В антракте после первого акта состоялся импровизированный «Чеховский вечер» в честь 25-летия литературной деятельности Чехова. Первую приветственную речь писателю произнёс профессор Алексей Николаевич Веселовский:

«...Вы снова пришли к нам, <...> к тем людям и нравам, к той действительности, которые всегда находили в вас тонкого наблюдателя, тонкого превосходного изобразителя. Пользуясь отрадною возможностью видеть Вас в нашей среде и застать Вас в минуту большого творческого успеха, во всеоружии таланта и чуткости к запросам жизни, Общество любителей российской словесности возложило на нас лестное поручение <...> приветствовать Вас и выразить надежду, что, опять войдя в непосредственное общение с жизнью, Вы обретёте новые, свежие силы для деятельности на славу отечественной литературы». Текст речи был напечатан в «Русском слове» в корреспонденции «Чеховский вечер»<sup>26</sup>.

9 февраля 1904 года Чехов писал Алексею Николаевичу: «Я не знаю, как мне благодарить Вас за 17 января. Это честь, которой я не ожидал и, во всяком случае, не заслужил. Спасибо Вам большое, никогда я этого не забуду» [П. 12, 33].

---

<sup>26</sup> Там же.

## **А. Г. Головачёва**

### **«...Брат и сестра Антоний и медицина Чеховы»**

Строка, вынесенная в заглавие, взята из письма Антона Павловича Чехова от 17 января 1887 года к его старшему брату, журналисту Александру. Эта подпись к письму, конечно, шуточная, отвечающая тому взаимно поддразнивающему тону, какой был принят в переписке между братьями: «Испрашивая Вашего благословения, остаюсь любящие брат и сестра Антоний и медицина Чеховы» [П. II, 15]. Основанием шутки был реальный факт: Антон Чехов «породнился» с медициной в возрасте 19 лет, когда, покинув свой родной город Таганрог, стал студентом медицинского факультета Московского университета. В 1884 году, закончив университет, он получил свидетельство о степени лекаря и звании уездного врача. Значима и дата под письмом с такой подписью: 17 января – день рождения Чехова и его именины, совпадавшие с днем преподобного Антония Великого. Такие дни, как правило, становятся этапами подведения итогов прожитого и составления планов на будущее. Какова бы ни была степень шутки, из неё можно сделать серьёзный вывод: хотя бы в ближайшем будущем Чехов видел свой путь рука об руку с медициной. В нескольких письмах он даст и другое шуточное определение роли медицины в своей жизни – «законная жена» (в отличие от «незаконной жены» – литературы, которой не обучался профессионально).

Впоследствии биографы Чехова не раз будут обращаться к реальной сестре Антона Павловича – Марии Павловне Чеховой, ставшей наследницей знаменитой Белой дачи в Ялте и хранительницей творческого чеховского наследия. Переписываясь со многими корреспондентами, М. П. Чехова не стеснялась признаться: «...при жизни брата я никогда не подходила к нему, как к писателю, тем более такому, биографию и творчество которого в будущем будут досконально изучать, он был для меня всегда и прежде всего любимым братом...»<sup>27</sup> Она не принимала на себя роль всестороннего знатока по научным вопросам. Тем не менее ей приходилось оказывать полезные консультации самым различным специалистам: составителям реального комментария, готовившим издания его сочинений и писем; литературоведам, постигавшим тайны мастерства великого писателя; драматургам, выводившим образ Чехова на сцену; художникам, намеревавшимся создавать живописные портреты Чехова. Среди тех, кто обращался к сестре писателя за советом и помощью, были и исследователи, занимавшиеся темой «Чехов и медицина».

Консультации М. П. Чеховой по вопросам врачебной деятельности А. П. Чехова содержали ценные сведения, воплощённые в целом ряде отечественных исследований. В их числе с полным основанием можно назвать очерк М. С. Рабиновича «Чехов и медицина», опубликованный отдельной брошюрой в Омске в 1946 году и «Омском альманахе» за 1947 год; книгу В. В. Хижняка «Антон Павлович Чехов как врач», изданную в Москве в 1947 году; книгу И. М. Гейзера «Чехов и медицина», выпущенную Госмедиздатом в 1954 году; брошюру «Слово о докторе Чехове» (М., 1960) Е. Д. Ашуркова, переписывавшегося с Марией Павловной начиная с 1941 года; книги «Труд и болезнь писателя-врача» (1959) и «Медицина в творчестве и жизни А. П. Чехова» (Киев, 1961) Е. Б. Мёве, широко использовавшего личные устные и письменные свидетельства М. П. Чеховой по соответствующей тематике.

27 сентября 1951 года Е. Д. Ашурков, исполнявший обязанности директора Института организации здравоохранения и истории медицины имени Н. А. Семашко, официальным письмом на бланке Академии медицинских наук СССР обратился к Марии Павловне с

---

<sup>27</sup> Дом-музей А. П. Чехова в Ялте (далее: ДМЧ). Чеховиана за 1955 г. Л. 18–18 об.

просьбой написать о Чехове как враче. «В частности, – уточнял он, – желательно осветить следующее:

1) насколько медицинская деятельность А. П. проявлялась в разные периоды его жизни (Бабкино, Мелихово, Ялта);

2) как относился он к этой деятельности, по Вашим наблюдениям;

3) какую помощь Вы лично оказывали ему в медицинской работе;

4) как Вы помогали ему при подготовке поездки на Сахалин и т. п.»<sup>28</sup>.

Ответ из Ялты в Москву был послан 14 октября 1951 года. Он занял три машинописные страницы, подписанные рукой М. П. Чеховой. Из него понятна и та роль, которая выпадала Марии Павловне во врачебной помощи брату. Ниже этот текст приводится в полном объёме.

*Медицинской деятельностью мой покойный брат Антон Павлович Чехов занялся сразу же по окончании Московского университета в 1884 году. Уж е летом этого года он работал в Звенигороде, заменяя там некоторое время земского врача. Продолжал он там же периодически работать и в следующие годы, когда в летнее время мы жили на даче под Москвой в имении Киселёвых Бабкино.*

*В Москве Антон Павлович врачебной практикой занимался от случая к случаю. В больницах он не работал, а к практикующему на дому молодому врачу обращались мало. К тому же литературная деятельность, которой Антон Павлович посвятил себя ещё с первых лет студенчества, отнимала у него много времени.*

*Продолжал заниматься медицинской деятельностью Антон Павлович и на Луке, близ города Сумы в 1888-89 годах, когда наша семья жила на даче в имении Линтварёвых. Дочь Линтварёвых работала врачом на фельдшерском пункте, и Антон Павлович нередко помогал на приёме больных, участвовал на консилиумах и т. д. Антон Павлович к медицинской деятельности относился всегда очень серьёзно, вдумчиво, и я помню, с каким вниманием относились врачи к мнениям и суждениям Антона Павловича по медицинским вопросам.*

*Когда в 1890 году Антон Павлович собирался в поездку на остров Сахалин, он решил всесторонне познакомиться с Дальним Востоком и Сахалином по опубликованным уже литературным материалам. Мне пришлось тогда помогать ему в сборе нужных для него сведений. Я ходила в Румянцевскую библиотеку, отыскивала необходимые книги, делала из них соответствующие выписки.*

*Наиболее активная врачебная деятельность у Антона Павловича развилась в Мелихове, куда мы всей семьёй переехали из Москвы в 1892 году, приобретя в собственность небольшую усадьбу-имение. В те времена в деревнях и сёлах Серпуховского уезда медицинская помощь населению была организована крайне плохо. Многие районы с десятками сёл и деревень подчас не имели врачей. Поэтому, когда крестьяне Мелиховского района узнали, что новый хозяин мелиховской усадьбы является врачом, к Антону Павловичу потянулись больные с просьбами об оказании помощи. Причём нередко приезжали из деревень за много вёрст от Мелихова. Вот здесь-то Антон Павлович и организовал постоянную врачебную работу. Он установил ежедневные утренние приёмные часы больных. Создал себе домашнюю аптеку для выдачи больным лекарств. С течением времени этот приём «писателем-врачом» настолько установился и вошёл в быт крестьян окружающих деревень, что по утрам у нас в усадьбе, по существу, был настоящий врачебный пункт.*

*Большое количество больных требовало помощника Антону Павловичу. Этим помощником была я. Трудно правильно назвать, в качестве кого я работала тогда: и медсестрой, и ассистенткой при несложных операциях, делающей потом самостоятельные послеоперационные перевязки, и заведующей нашей домашней аптекой, выдававшей крестьянам лекарства по написанным братом рецептам. Нет нужды упоминать о том, что и врачеб-*

---

<sup>28</sup> ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 21. Машинопись, подпись-автограф.

ный приём крестьян, и выдача им лекарств производилась безвозмездно. Помимо этого приёма у себя, установилась практика и вызова Чехова-врача к тяжело больным, и больным, требующим срочной неотложной помощи, и т. д. Всё это, конечно, утомляло брата, но я ни разу не слышала от него, чтобы он тяготился своим положением врача или отказал бы кому-нибудь в поездке по вызову в отдалённую деревню.

Кипучую деятельность Антон Павлович проявил во время угрозы эпидемии холеры в Серпуховском уезде. В его ведении находился тогда целый район с двумя десятками деревень. Брат проводил в них профилактические мероприятия, организовывал больницы, бараки и т. д.

Активная врачебная деятельность Антона Павловича в Мелихове оборвалась весной 1897 года, когда у него самого неожиданно обнаружился туберкулёз лёгких и врачи предложили ему изменить образ жизни и прекратить напряжённую работу.

При жизни Антона Павловича в Ялте он по состоянию здоровья не мог уже заниматься практической врачебной деятельностью. Но вместе с тем он никогда не отказывал в медицинской помощи бедняцкому населению окраин Ялты, студентам, приезжающим лечиться в Ялту без гроша в кармане, и другим малоимущим больным. Стетоскоп, молоточек и плессиметр всегда лежали на письменном столе брата.

В Ялте до сего времени существует санаторий имени А. П. Чехова для горланно-лёгочных туберкулёзных больных, тот самый бывший санаторий «Яузлар», который в самом начале этого столетия [XX. – А. Г.] был создан при непосредственном участии Антона Павловича для малоимущих туберкулёзных больных. В те времена это был один из первых в Ялте сравнительно общедоступных туберкулёзных санаториев.

Конечно, медицинская деятельность Антона Павловича по сравнению с его литературной деятельностью представляет лишь частное, эпизодическое значение, но нужно помнить высказывания самого писателя о том, что занятия естественными науками и врачебно-медицинская деятельность очень много помогли ему и в его литературном творчестве.

*М. Чехова*<sup>29</sup>.

Сохраняя Дом-музей Чехова в Ялте как культурное достояние человечества, М. П. Чехова, порой сама того не ведая, служила целям не только нравственного, но и физического оздоровления общества. Об этом можно судить хотя бы по такому письму, какое прислал ей в 1947 году, по сути, незнакомый корреспондент И. Д. Галькевич, чей обратный адрес – номер военно-полевой почты на территории освобождённой от фашистов Европы. Бесхитростное это письмо – из тех, что убеждали сестру Чехова в правильности того дела, которому она посвятила большую часть своей жизни.

*Здравствуйте, глубокоуважаемая Мария Павловна!*

*Из далёкого далека шлю вам искренний привет и низкий поклон до земли светлой памяти Антона Павловича.*

*Много времени прошло с тех пор, когда я имел счастье познакомиться с Вами и провести много часов в тихом уютном домике-музее Антона Павловича.*

*Это было в 1931 году в январе месяце. Вследствие автомобильной аварии в октябре 1930 г. я после длительного лечения в госпитале был направлен в Институт физических методов лечения в Ялте. Больным нервам хотелось покоя, и я искал его на берегу моря, но вечно беспокойное – оно не давало мне его и не могло дать.*

*Этот душевный покой я нашёл в домике-музее, куда я пошёл по совету лечащего врача.*

*До сих пор помню, с каким чувством глубокого уважения я входил в этот домик.*

---

<sup>29</sup> ДМЧ. Чеховиана за 1951 г. Л. 19, 19 об., 20. Машинопись, подпись-автограф.

*Вот стеклянная веранда, на которой часто отдыхали В. Короленко, Максим Горький и другие гости.*

*Вы, Мария Павловна, спускались по лестнице и, любезно меня встретив, предложили – видя, очевидно, мое состояние, – отдохнуть, а потом ознакомиться с музеем.*

*Когда я вошёл в первую комнату, ту, где направо у двери стояла большая деревянная чашка русской резной работы, – меня охватило волнение. Мне казалось, что в соседней комнате за письменным столом сидит Антон Павлович. Та к всё живо напоминало о нём...*

*Вот диван в нише, на котором любил отдыхать Антон Павлович.*

*Спальня. Ночной столик. Коробочка с медикаментами.*

*Охватывает впечатление, что Антон Павлович недавно ушёл из комнаты...*

*На другой день я снова пришёл в эти маленькие комнаты, так много говорящие сердцу советского читателя.*

*И стало для меня потребностью бывать в домике, и незаметно для самого себя я успокаивался, отдыхали больные нервы.*

*Вы рассказывали мне об Антоне Павловиче, я вспоминал его произведения, написанное о нём, его простую отзывчивость на горе людское.*

*Много музеев я посетил – Ясную Поляну и могилу Л. Н. Толстого, музеи А. С. Пушкина и Максима Горького в Москве, музеи М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, и все они оставляли глубокие впечатления, а в домике-музее А. П. Чехова – я выздоровел.*

*Моя мечта – по возвращении на Родину – вновь посетить тот домик...*

*Спасибо вам, глубокоуважаемая Мария Павловна, за сохранение этого прекрасного памятника прекрасному писателю.*

*Я лечусь в госпитале после контузии, в результате чего было сотрясение мозга в сильной степени. Пять месяцев я провёл в постели. Теперь значительно лучше. Я уже могу писать и пишу это письмо с благодарной памятью за те далёкие дни, которые я провёл в домике-музее<sup>30</sup>.*

Подобных писем М. П. Чехова получала много. При всей похожести на другие, в этом, однако, есть примечательная особенность – утверждение о целительной силе воздействия чеховского дома. Сотрудникам музея, проводящим экскурсии в течение многих лет, доводилось часто слышать от посетителей, что в чеховском доме у них приходит в норму давление, успокаиваются сердечные боли, а день, проведённый в чеховском саду, прибавляет сил, как после долгого отдыха. Недаром это дом доктора Чехова! И стоит отдать должное тому неизвестному врачу, который в далёком 1931 году посоветовал своему пациенту прийти за душевным покоем именно в этот «домик-музей».

---

<sup>30</sup> ДМЧ. Чеховиана за 1947 г. Л. 146, 146 об., 147, 147 об. Рукопись.

## Часть II

**Ю. И. Айхенвальд**

### **А. П. Чехов. Основные моменты его произведений**

Кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери, – до такой степени роднил он собою, пленяя мягкой властью своего таланта. Из тонких нитей сплетал он в своих рассказах человеческие души; в свои миниатюры он вместил всё глубокое содержание жизни и обвеял его дыханием проникновенной элегии. Как один из героев, живший в чудном саду, он был царь и повелитель нежных красок. Писатель оттенков, он улавливал почти незаметные переживания сердца; ему был доступен самый аромат чужой души. Вот почему его так трудно анализировать, – нельзя, да и грешно разбирать по ниточкам драгоценную ткань его произведений: это разрушило бы её, и мы сдунули бы золотистую пыль с крылышек мотылька. Чехова меньше чем кого-либо расскажешь: его надо читать, и, читая, мы как бы пьём его строки, мы боимся пропустить в них хотя бы единое слово, потому что, несмотря на свою простоту, – правда, дорогую и благородную, – оно содержит в себе художественный штрих наблюдательности, необыкновенно смелое и поэтичное олицетворение природы или вещей, удивительную человеческую деталь.

Он тем более держит читателя в плену своего тонкого письма, что психологическая сила скорби и грусти, которой оно проникнуто, велика и своеобразна. Грусть неотразима. Она всегда права. Когда радость придёт к нам, вы можете её не принять, и она исчезнет, спугнутая горем, которое живёт кругом и внутри каждого из нас. Но когда грусть постучится к нам в сердце, оно непременно откроется для неё, и она ласково обнимет нас и заговорит, и от её прикосновения зарождаются тихие слёзы. Так именно подходит к сердцу Чехов: можно ли отказать ему в гостеприимстве?

Для его грусти характерно то, что сперва она звучала у него лишь мимолётной и робкой нотой и к её преобладанию он пришёл от яркого комизма, который, впрочем, никогда не покидал его и потом. Чехов писал в «Осколках», в «Стрекозе»; он начал анекдотом. Человек, который прежде так смеялся и так смешил, впоследствии поднялся на самые вершины горя и создал страницы, полные чёрной тоски. Конечно, по существу, здесь нет ничего поразительного. Глубокому духу скоро открывается внутреннее родство между смешным и скорбным, и Чехов только повиновался своей стихийной глубине. Несоответствие между идеей и её проявлением в одинаковой степени может быть последним источником как смешного, так и трагического. Нелепые слова, которые не покрывают своих понятий, бессмысленные поступки, внезапные изменения хамелеона житейских ситуаций, когда, например, в странной группировке человеческих фигур встреча «толстого» и «тонкого» принимает столь неожиданный поворот, – всё это вызывает улыбку. И она сама по себе является великой разрешительной силой и производит нравственно-очищающее действие. Но когда ненужное, нестройное, неблагоприятное заполняет все поры существования, когда нелепица разрастается в несчастье и своей карикатурой вытесняет правильные линии жизни, тогда одного смеха уже недостаточно, и он естественно переходит в скорбь. Смех – это признак превосходства, силы, в нём есть нечто божественное, и на вершинах Олимпа громовыми раскатами звучал гомерический смех богов. Но могли смеяться над другими, над бедной землёй и её смертными обитателями, а мы обречены высмеивать себя. И горько нам служить объектом смешного. Какая драма – быть хотя бы тем чеховским чиновником, который умер от генеральского гнева! Смех очищает, и потому его признают за желанный и положительный момент духа; но

смешное – явление отрицательное, явление горестное. От великого до смешного – один шаг, и потому смешное печально. Так знаменательно, что физиологический смех на своей высоте разрешается в плач. За смешного человека обидно, потому что он – вырождение великого, вырождение человеческого. Как бы невинна ни была его комичность, но всякое смешное действие не есть ли всё-таки посягательство и грех против Дела (*im Anfang war die That* – Вначале было дело, нем.) и всякое смешное не есть ли посягательство и грех против Слова? Смешное не может быть сущностью человека, не может быть сердцевиной чего бы то ни было. Смешное временно, – проникновенный взгляд идёт дальше его. Как Поликрат боялся того постоянного праздника, который праздновала его душа, как он для умилоствления небесной зависти жаждал печали, так и смеющийся почувствует наконец тревогу и раскаяние в том, что он забыл серьёзное мира, и тем внимательнее и вдумчивее обратится он к серьёзному. Правда, улыбка не оставит его, и в грусти, которая его осенит, всё же будет слышен свойственный ей слабый отголосок радости, сладости...

И Чехов обратился к серьёзному. На чём бы ни останавливался он взгляд своих задумчивых глаз, всё принимало для него очертания скорби. Мифический царь безумно выпросил себе у богов коварный дар своим прикосновением всё обращать в золото – и золотым слитком становился для него хлеб насущный. Чехов такого дара не просил, он его не хотел, он жаждал радости и жизни, – но поневоле претворял он жизнь в золото грусти, в осеннее золото увядающих листьев. Даже картины чарующие, даже благословенное появление красоты разрешаются у него мелодией печали. Дважды мелькнули перед ним прекрасные женские лица, но он испытывал «не желания, не восторг, а тяжёлую, хотя и приятную грусть» [С. 7, 161–162]. Ему становилось жаль и самого себя, и красавицы, и тех, кто её окружал, точно они навсегда «потеряли что-то важное и нужное для жизни» [С. 7, 162]. Он смутно помнил, что «капризная красота осыпается как цветочная пыль» [С. 7, 165], и он переживал то «особенное чувство» [С. 7, 163; С. 10, 72.], которое пробуждается в человеке от созерцания настоящей красоты. И никогда не покидало его это платоновское воспоминание, эта светлая печаль о далёкой сфере идеала. И воспоминание вообще, его чары и его муки, имеет очень важную долю во всём творчестве Чехова, нередко образует главный колорит и настроение его рассказов. Наши дни проходят, и, проходя, они оставляют в душе свои смутные, слитные образы, и человек – по свидетельству Чехова, особенно русский человек – любит вглядываться в эти реющие призраки былого, предпочитая их пестроте и шуму текущего дня. «Что пройдёт, то будет мило» и будет ласкать и печалить своей невозвратимой прелестью. «Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и тёплые ночи, пели соловьи, пахло сеном – и всё это, милое, изумительное по воспоминаниям, у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исчезало, как туман... Где всё это?» [С. 6, 452–453].

Если в роковом увядании нашей жизни воспоминание молодого и раннего само по себе волнует грустью, то противоположность между счастливым прошлым и скорбью настоящего совсем уже разрывает сердце на части. И в ссылке, сырою, холодной ночью, на рыжем глинистом берегу ворчащей реки, неутешно рыдает молодой татарин, вспоминая свою родную Симбирскую губернию, свою Волгу, свою красивую, застенчивую жену, которая будет теперь «ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню» [С. 8, 47]. Или бессрочно-отпускной рядовой Гусев умирает в чуждых водах Тихого океана, и в бреде грезится ему родная деревня на севере («Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде!» [С. 7, 334]); вспоминаются ему дети-племянники, катающиеся на санях, девочка Акулька, которая распахнула шубу и выставила ноги: «глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые»... [С. 8, 331]

Обильный выбор несчастья и горя представляет собою жизнь, отражённая в книгах Чехова. Он показал её как смешное, как печальное, как трагическое. У него есть ужасы внеш-

него сцепления событий, капризные и страшные выходки судьбы; у него ещё больше внутреннего драматизма, который имеет свой источник хотя бы в тяжёлом характере человека, – например, в злобной скуке того мужа, который запретил своей жене танцевать и увёз её домой в разгар шумного уездного бала. Вообще, вовсе не должна разразиться какая-нибудь особая катастрофа, какая-нибудь «воробьиная ночь» жизни, вовсе не должно произойти особое несчастье, для того чтобы сердце загрузило. Чехов больше занят статикой жизни и страдания, чем их бурной динамикой. В самом отцветании человеческой души, в неуклонном иссякновении наших дней таится неиссякаемый родник печали, и разве это не горе, что студент Петя Трофимов, недавно такой цветущий и юный, теперь носит очки, и смешон, и невзрачен, и все говорят ему: «отчего вы так подурнели, отчего постарели?» [С. 13, 211]. И страница за страницей, рассказ за рассказом тянется эта безотрадная панорама, и теперь, когда полное собрание сочинений Чехова, в таком странном соседстве с «Нивой», сотнями тысяч экземпляров проникло в самые отдалённые углы русского общества и сотни тысяч раз повторилась участь рядового Гусева, под которого нехотя и лениво подставляет свою пасть акула, многие, вероятно, почувствовали испуганное недоумение и страх перед кошмаром обыденности. Вот, например, люди сидят и играют в лото, и вдруг раздаётся выстрел: это лопнуло что-нибудь в походной аптеке, или это разбилось человеческое сердце. И есть даже что-то непривлекательное и жуткое в той, на первый взгляд, меланхолической равномерности, в той привычке, с которою Чехов один за другим выпускал свои тёмные снимки мира. Без конца – только смерть положила конец – рисовал он эти страшные образы, и его глаза, раскрытые на ужас, как будто сами не ужаснулись, только отуманились. Если видишь то, что видел Чехов, нельзя быть спокойным. Хочется криком отчаяния прорезать эту невозмутимую тишину, это бесстрашие, с которым художник тщательно и мастерски воспроизводит бесконечные перспективы скорби, всю человеческую боль. Если мир таков, то с ним нельзя примириться, и надо биться головой об этот «унылый, окаянный» серый забор с гвоздями, который окружает не только палату № 6, но и всю земную действительность. «Человеческий» талант, «тонкое, великолепное чутьё к боли» [С. 7, 216], соприкосновение ужасу – всё это обязывает: исполнил ли Чехов своё обязательство? Студент Васильев, когда увидел «живых женщин», которых продают, покупают, убивают, перенёс мучительный припадок, – он рыдал, терзался, он едва не сошёл с ума: острой болью охватило его недоумение перед равнодушной неправдой жизни, перед спокойствием этого снега, который своими белыми, молодыми пушинками так же весело падает в развратный переулок, как и во все остальные улицы мира. Но затем товарищи, которые советовали ему объективно смотреть на вещи, и «полный, белокурый» доктор, прописавший ему бромистый калий, успокоили, вылечили его; полегчало Васильеву, и он «лениво поплёлся к университету». Он будет теперь лениво плестись по жизни, и больше с ним не случится припадка, больше он не будет в отчаянии. Он привыкнет, как это и рыдавшему в ссылке татарину жестоко предсказывал его привыкший товарищ. Если Васильев из лучших, он уже не станет сам ходить в ужасный переулок, который он проклинал, но всё же будет свидетелем того, как ходят в него другие и как «смоленские бухгалтеры» посылают в него всё новые и новые партии женщин. И даже в общем контексте чеховского мирозерцания можно прочесть, что и сам Васильев, пожалуй, в зловещий переулок ещё и ещё пойдёт... Он привыкнет.

И мы прокляли бы, трижды прокляли бы «замену счастья», если бы это только она тушила в людях припадки сострадания, чуткую впечатлительность к добру и злу. Но то, что сохраняет людей для мира, и то, что сохранило в Чехове спокойствие, необходимое для поэтического творчества, – это, в конечном основании, сила жизни, сила любви и солнца, которое побеждает и рассеивает всё тягостные фантомы ночи. Только эта врождённая привязанность к солнцу, источнику живого, и может объяснить, почему Чехов, почему другие писатели скорби впитали её в себя, но не изнемогли от неё. Любовь сильнее смерти. И она,

любовь, просвечивает сквозь ту объективную строгость, которую облекает Чехов свои произведения. Он часто рассказывает неумолимо и холодно – вспомните, например, поразительный тон «Старого дома». Но этим художник только даёт свой суровый ответ суровой действительности, перед которой он не хочет сдаваться. Он словно говорит ей: «Ты насылаешь невзгоды и несчастья, ты смеёшься и коварно сплетаешь для людей такие сети ужасов, от которых стынет кровь в жилах, – но я не буду сетовать и содрогаться, и я поведаю об этом спокойно. Того, что происходит в глубине моего сердца, я не покажу тебе: это не твоя забота, не твоё дело. Быть может, в меня и в моих ближних, как в Лаокоона, впиваются твои змеи, но я останусь спокоен, как это подобает художнику, подобает творцу. И если тени и тени ложатся на моё бледнеющее лицо, это не твоя забота, не твоё дело. Я буду спокоен до последнего дыхания и без жалоб и слёз расскажу о тебе другим. Ты меня не удивишь, и я мужественно приму твои отравленные дары, твои смертоносные удары: величие моего сознания и моей художественной мощи я противопоставлю твоей жестокости».

Под слоем этого эпического спокойствия тлеет, однако, глубокий, целомудренный лиризм, и даже он сказывается нередко в самой форме изложения, в каком-нибудь задушевном восклицании: «О, какая суровая, какая длинная зима!» [С. 9, 310] Вообще, удивительное сочетание объективности и глубоко-интимного настроения составляет самую характерную и прекрасную черту литературной манеры Чехова – этих сжатых рассказов, где человечество так сконденсировано.

«Однозвучный жизни шум» томил Чехова, и он воспроизвёл его в своём художественном отклике. Эта жизнь часто рисовалась ему в виде движения или дороги: приходят и уходят поезда, уезжают, приезжают люди, посещая, покидая свои усадьбы, дома с мезонинами, новые дачи: мелькают города и станции, звенят колокольчики. Иногда жизненная поездка весела, отрадна, сулит что-то в будущем, но чаще она обманывает, и есть в ней сила гнетущая и фатальная. Алёхин долго таил от любящей и любимой женщины своё чувство, – и вот, наконец, он признаётся ей в своей любви, и целует её, и плачет («О, как мы были с ней несчастны!») [С. 10, 74]); и с жгучей болью в сердце понял он, как ненужно и мелко было всё то, что мешало им любить друг друга, – но уже поздно, поздно, и через мгновение поезд унесёт её далеко, унесёт навеки; жизнь двинется дальше, она не ждёт, и первый поцелуй останется последним. Сладкое счастье любви уже так близко коснулось молодого путника, и он уже обнял женщину, очарованную его белокурой головой, – но властно зовёт его жизненное путешествие, и на пороге показался ямщик, и надо из тёплой комнаты опять двинуться в снежную дорогу, под завывание метели, и вот уже «лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки» [С. 4, 324]. Над юношей насмеялась жизненная поездка, как насмеялась она в родном углу над Верой, которую поглотило «спокойное зелёное чудовище степи» [С. 9, 316]. И в той же степи, на затерянном полустанке, тоскует свидетель чужого передвижения, человек, которому некуда ездить и перед которым «женщины мелькают только в окнах вагонов, как падающие звёзды» [С. 6, 15]. А сельская учительница, знающая только одну дорогу – от школы до города, постаревшая, огрубелая, измученная своей жизнью в избе, где от сырости потускнела даже фотография матери, единственный остаток лучших дней, – учительница едет, едет весёлым бездорожьем на тряской подводе, и лошадь входит в реку, холодную, быструю, мутную; резкий холод пронизывает Марью Васильевну, калоши и башмаки полны воды, платье и шубка мокры, подмочены сахар и мука. А на железнодорожном переезде опущен шлагбаум; со станции идёт-мчится ликующий, счастливый курьерский поезд. Марья Васильевна, дрожа всем телом от холода, смотрит на его окна, отливающие ярким светом, «как кресты на церкви» [С. 9, 342]. «На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на неё мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в

первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и всё до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, тёплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило её; от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой: мама! И заплакала, неизвестно отчего... Да, никогда не умирали её отец и мать, никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжёлый, страшный сон, а теперь она проснулась... И вдруг всё исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу»[Там же].

Умчался курьерский поезд и унёс с собою призрак матери, призрак бывшего счастья, и едет, едет учительница на тряской подводе в свою школу, где её ожидает грубый сторож, который бьёт детей, и грубый попечитель, которого надо умолять о присылке дров. Умчался курьерский поезд, и опять «длинной вереницей, один за другом, как дни человеческой жизни», тянутся вагоны товарные, и как будто нет им конца, нет конца этой медленной «гусенице».

На дороге жизни, между прочим, интересуют Чехова люди чужого движения, те, которых посылают, которые заняты делом не своим. Характерно, что у него часто выступают лишённые «обыкновенного, пассажирского, счастья» почтальоны, кондуктора, сотские – все эти обречённые на движение ради других. Они в большинстве относятся к разряду хмурых людей, они сердятся – «на кого они сердятся: на нужду, на людей, на осенние ночи?» [С. 6, 338]; они бесчувственные к разговору, у них холодная кровь и неприветливая душа, как неприветливо осеннее утро, когда солнце восходит «мутное, заспанное, холодное»[С. 6, 337]. Эти скитальцы жизни, которым говорят: «хлеб твой чёрный, дни твои чёрные» [С. 10, 175; П. 17, 56], эти перекасти-поле и странники, идущие, бредущие, – они кошмаром встают перед своими более счастливыми собратьями, и, например, судебному следователю Лыжину ночью в тёплом доме грезится, что по снежной поляне идут, поддерживая друг друга, старый сотский и земский агент, прекративший самоубийством своё бесцельное жизненное движение, своё тяжёлое сновидение; они идут, соединённые общностью человеческой судьбы, и вместе поют какой-то мистический хорал: «Мы идём, мы идём, мы идём... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идём в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несём на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идём, мы идём, мы идём...» [С. 10, 99]

Но в каких бы формах ни совершалось движение людей, будет ли оно своё или чужое, отражённое, каждый из его участников одинаково несчастен, и недаром в сновидении Лыжина в одну пару соединены сотский и самоубийца, нищий физический и нищий духовный. Все несчастны, и все чувствуют в мире безнадежно одинокими, как одинок в степи зелёный тополь. И не всегда он даже зелёный: осенью он переживает, обнажённый, страшные ночи, «когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра» [С. 7, 16], а зимою, покрытый инеем, «как великан, одетый в саван» [С. 6, 14], он глядит сурово и уныло на одинокого путника, точно понимает и собственное одиночество. Именно тогда, когда жизнь срывает с нас зелёную листву молодости и человеку, «как это ни странно», оказывается уже «пятьдесят один год» [С. 13, 203], – тогда особенно думаешь о том «одиночестве, которое ждёт каждого из нас в могиле» [С. 7, 66], и тогда «звёзды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, гнетут душу своим молчанием» [Там же, 65]. Равнодушный, однообразный, глухой шум моря, раздававшийся и тогда, «когда ещё не было ни Ялты, ни Орлеанды» [С. 10, 133], говорит «о покое, о вечном сне, какой ожидает нас» [С. 10, 133]. В бессонные ночи думается о холоде смерти; «и потёмки, и два окошка, резко освещённые луной, и тишина, и скрип колыбели напоминают почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернёшь её никак» [С. 9, 300]. Чужое одиночество сознаёт даже чуткая душа ребёнка, и, когда над

Егорушкой в «Степи» склонилась прекрасная графиня Дарницкая, «ему почему-то пришёл на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днём на холме» [С. 7, 42]. И для одинокого, для отжившего «всё, что нравилось, ласкало, давало надежду – шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о любви – всё это становится одним воспоминанием», и впереди «ровная пустынная даль: на равнине ни одной живой души, а там, на горизонте, темно, страшно».

Самое печальное в жизни, в уходящей жизни, – это нравственное опустошение, которое она производит в нас самих. Мы обманули свои собственные прекрасные надежды и обещания; потускнели, побледнели все впечатления бытия, опошлились и поблёлкли наши чувства, и духовная старость оледенила все пылкие стремления, все благородные замыслы. Каждый раз природа опять чиста и нова, и утром так свеж росистый сад, – а наше утро исчезает навсегда, и нет обновления усталому сердцу [С. 13, 210]. И как грустно смотреть на белый вишнёвый сад, на длинную аллею, которая блестит в лунные ночи, и думать о том, что «покойная мама идёт по саду в белом платье» [С. 13, 210], – но нет, это не мама, это «склонилось белое деревцо, похожее на женщину». «О моё детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мной каждое утро, и тогда уже он был точно таким, ничего не изменилось. Весь, весь белый. О сад мой!.. Опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять с груди и плеч моих тяжёлый камень, если бы я могла забыть моё прошлое!» [С. 13, 210].

Ангелы небесные не покидают вишнёвого сада, и к саду возвращается его белая молодость, его чистая весна. Но невозвратно белое человека. И сознание его утраты налагает свою тень на всю дальнейшую жизнь. Белые цветы вишнёвого сада и призрачная мама в белом платье оттеняют всё, что есть тёмного у Раневской, и горько, и стыдно ей думать о Париже, о том, что в нём было и что ещё будет. Чистота умерла. Но, может быть, после того как умрёт и сама Раневская, на её могиле, как и над бедной героиней «Старости», будет стоять «маленький белый памятник» и будет смотреть на прохожих «задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежит девочка, а не распутная, разведённая жена»?... [С. 4, 229]

Чистота, белое умирает, и жутко и страшно заглядывать в глубину собственной совести, как жутко было герою «Дуэли» Лаевскому. «Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но, когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: «Свят, свят, свят...» О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной, чистой жизни? Грозы он уже не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых... только разрушал, губил и лгал, лгал...» [С. 7, 429]

Раневская, Лаевский и все падшие имеют ещё силы переносить самих себя. То нечистое, что в него проникло, наполнило его острым стыдом, и его убил этот стыд перед собою, перед пошлостью родной матери, перед пошлостью любимой женщины, очарование которой исчезло в несколько мгновений. Он видел солнечный свет и слышал звуки свирели; солнце и свирель говорили ему, что «где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая, – но где она?» [С. 6, 206]. И только вспомнились Володе Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он когда-то бегал по песку. И те же девочки, символ всего чистого и прекрасного, вероятно, пронеслись в его темневшем воображении, когда он спустил курок револьвера и полетел в какую-то очень тёмную, глубокую пропасть.

Так должен был Володя прервать короткую нить своих искажённых дней; но Чехов и вообще показал, как рано блекнут наши дети. Он любит ребёнка; утомлённый и скорбный, он ласково держит за руку доверчивое и удивляющееся дитя и глубоко, с доброй улыбкой загля-

дывает в его маленькую душу; но много печальных страниц посвятил он описанию того, как «невыразимо-пошлое влияние гнетёт детей, и искра Божья гаснет в них, и они становятся похожими друг на друга мертвецами» [С. 13, 182]. Искра Божья гаснет в детском сердце, потому что оно в испуге и недоумении сталкивается с пошлостью взрослого человека, с драмою жизни. Не только гибнут Варька и Ванька, которым спать хочется и есть хочется и которые напрасно взывают о защите к мировому дедушке, но и те дети, которые вырастают в обеспеченной среде, морально погибают, заражённые неисцелимой пошлостью. И когда-то нежные, румяные, мягкие, как их бархатные куртки, они сделаются сами взрослыми людьми; и когда мёртвые похоронят своих мёртвых и равнодушный оратор произнесёт над ними свою нелепую речь, они, эти новые отпрыски старых корней, пополнят собою провинциальную толпу человечества и станут жителями чеховского города. В этой нравственной провинции нет ни одного честного, нет ни одного умного человека, и бездарные архитекторы безвкусных домов строят здесь клетки для оцепенелых душ, и на всё налегает грузная, безнадежная, густая пелена обыденности. И пошлость, как спрут, обвивает каждого, и часто нет сил бороться против её насилия. По слову Тютчева, пошлость людская бессмертна; но, сама бессмертная, она мертвит всё, к чему ни прикасается. Она останавливает живое творчество духа, она силой бездушного повторения обращает в механизм и рутину то, что должно бы быть вечно новое, вечно свежее, вечно первое. Остановка духа именно потому и оскорбительна, что подвижность составляет самое существо его. От пошлости стынут и гаснут слова, чувства, мысли; она заставляет людей употреблять одни и те же фразы и прибаутки, из которых вынуты понятия; она заставляет тяжело переворачивать в уме одни и те же выдохшиеся идеи, и все цветы жизни, весь сад её она претворяет в нечто искусственное, бумажное, безуханное. Особенно мертво то, что притворяется живым, и пошлое тем ужаснее, что оно выдаёт себя за живое. Оно считает себя правым, оно не сознаёт своей мертвенности и самодовольно, без сомнений, распоряжается в подвластной ему широкой сфере.

Оттого пошлость и была лютым врагом чуткого, безостановочно-духовного и творческого Чехова. В течение всей своей недолгой жизни он, как писатель, боролся с ней; она гналась за ним по пятам, и он постоянно слышал за собой её тяжёлое, её мёртвое дыхание. Её не избыть, от неё не оградиться. Вот на Святках мать диктует Егору, отставному солдату, письмо к дочери и зятю, и она хочет, страстно хочет излить все свои лучшие материнские чувства, послать своё благословение, сказать самое ласковое, дорогое, заветное, – а Егор, «сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, сидит на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затыл-ком», сидит и пишет – что он пишет! «В настоящее время, как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Военных Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цивилизацию Чинов Военного Ведомства» [С. 10, 184]... Вот Андрей, «охваченный нежным чувством», сквозь слёзы говорит своим сёстрам: «Милые мои сёстры, чудные мои сёстры! Маша, сестра моя», – а в это время растворяется окно и выглядывает из него... пошлость, выглядывает Наташа и кричит: «Кто здесь разговаривает так громко? ... Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déjà. Vous êtes un ours» (*франц.*). [С. 13, 182] Вот идёт архитектор под руку с дочерью, милой девушкой, и говорит ей о звёздах, о том, что даже самая маленькая из них – целые миры, при этом он указывает на небо тем самым зонтиком, которым давеча избил своего взрослого сына. Безутешная мать, у которой убили единственного ребёнка; но священник, «подняв вилку, на которой был солёный рыжик, сказал ей: „Не горюйте о младенце. Таковых есть царство небесное“». Пошлость разнообразна. Её не перечислишь, её не уловишь.

Только от девушек веет нравственной чистотой, и многие сохраняют её навсегда; светлые женские образы встают перед нами в произведениях Чехова, обвеянные лаской, какой

они не знали со времён Тургенева; и, может быть, среди них, в кругу милых трёх сестёр, которые стали нашими общими сёстрами, около тоскующей чайки, Анюты из «Моей жизни» и Ани из «Вишнёвого сада», меркнут все эти попрыгуны, супруги и Ариадны, напоминающие своей холодной любовной речью «пение металлического соловья», и эта дочь профессора из «Скучной истории», которая когда-то девочкой любила мороженое, а теперь любит Гнеккера, молодого человека с выпуклыми глазами, молодого человека, олицетворяющего собою пошлость...

Обыватели пошлого города, граждане всесветной глуши, или уживаются, мирятся с обыденностью, и тогда они счастливы своим мешанским счастьем, или они подавлены ею, и тогда они несчастны, тогда они – лишние, обойдённые. Но большинство счастливы, и на свете, в сущности, много довольных людей, и это на свете самое печальное. В тишине вялого прозябания они мечтают о своём крыжовнике, и они получают его; кислыми ягодами крыжовника отгораживаются они от остального мира, от мира страдающего, и не стоит у их дверей человек с молоточком, который бы стучал, стучал и напоминал об окружающей неправде и несчастье. Были и есть люди с великими молоточками слова – Чехов принадлежит к их благородному сонму; из-за них человечество не засыпает окончательно, убаюканное шумом дней, довольное своим крыжовником. Но многие, многие сидят в своих футлярах, и никакое слово не пробудит их от вялой дремоты. Они робки и боятся жизни в её движении, в её обновлении. Впрочем, страх перед нею, страх перед тем, что она «трогает», конечно, ещё не влечёт за собою нравственного падения. В русской литературе есть классическая фигура человека, который пугался жизни, бежал от неё под защиту Захара, на свой широкий диван, – но в то же время он был кроток, нежен и чист голубиной чистотою. Пена всяческой низменности клокотала вокруг Обломова, но к нему не долетали её мутные брызги. А Беликов, который тоже смущался и трепетал перед вторжением жизни, через это впадал не только в пошлость, но и в подлость. И вот почему на могилу Обломова, где дружеская рука его жены посадила цветущую сирень, русские читатели до сих пор совершают духовное паломничество, а Беликова, говорит рассказчик, приятно было хоронить. Правда, Чехов совсем не убедил нас, что ославленный учитель греческого языка должен был в силу внутренней необходимости от своего страха перейти к доносам и всяческой низости. Этого могло и не быть: боязнь жизни и робкое одиночество совместимы с душевной чистотою. «Человек в футляре» вообще произведение слабое; напрасно и не без вульгарного оттенка издеваясь над тем, что Беликов умиленно произносит чудные для его слуха греческие слова, рассказчик совсем упустил из виду то мучение, которое должен был переносить человек, всего боявшийся и страдавший бредом преследования. Но зато на многих других страницах Чехов, к сожалению, слишком убедительно показал своих горожан в презренном ореоле трусливости и мелочного приспособления к требованию обстоятельств и властных людей.

А те, кто не приспособляется, тоскливо бредут по жизни, которая кажется им скучной и грубой историей, сменой однотонных дней, каким-то нравственным «третьим классом» или городом Ельцом, где «образованные купцы пристают с любезностями». Они тащат свою жизнь «волоком, как бесконечный шлейф». Неприспособленность, как и самого Чехова, словно угнетает вечный закон повторения. Всё в мире уже было, и многое в мире, несмотря на истёкшие века, осталось неизменным. Остались неизменными горе и неправда, и в спокойное зеркало вселенной как бы смотрится всё та же тоскующая мировая и человеческая душа. Под глубоким слоем пепла лежали сожжённые лавой древние Геркуланум и Помпеи, но под этой пеленою картина прежней жизни осталась такою же, как её захватила, как её остановила текущая лава. Так и под слоем всех новшеств и новинок, какие приобрело себе человечество, Гамлет-Чехов видит всё то же неисцелимое страдание, как оно было и в то «бесконечно-далёкое, невообразимое время, когда Бог носился над хаосом».

Самая непрерывность и повторяемость людских происшествий уже налагает на них, в глазах Чехова, отпечаток пошлого. Праздничная атмосфера счастья и весны окружает у Толстого девушку-невесту, Кити Щербакову или Наташу Ростову; а чеховской невесте говорят слова любви, – но сердце её остаётся холодно и уныло, и ей кажется, что всё это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то в романе, в старом, оборванном, давно заброшенном романе. Она, тоскуя, проводит бессонные ночи, и ей невыносима эта вновь отделанная квартира, её будущее жилище, эта обстановка и картина известного художника, которую самодовольно показывает ей счастливый жених. Что же? Быть может, в самом деле, человечество состарилось, и хотя всякий живёт за себя, начинает свои дни и труды сызнова, всё же на каждом из наших переживаний, на каждом событии нашего душевного бытия лежит отпечаток того, что всё это уже было и столько невест уже испытало своё весеннее чувство? Быть может, в глубине нашей бессознательной сферы созрел ядовитый плод усталости и плечи человечества утомились грузом истории, тяжестью воспоминаний? Быть может, в самом деле мир истрепался, побледнел и мы, наследники и преемники бесчисленных поколений, уже не имеем силы воспринимать настоящее во всей свежести и яркой праздничности его впечатлений?

Кто знает? Несомненно, что здесь Чехов подходит к самым пределам человеческого в его отличии от природы. Каждая весна, которая «в условный час слетает к нам светла, блаженно равнодушна», сияет бессмертием и не имеет «ни морщины на челе»:

*Цветами сыплет над землёю,  
Свежа, как первая весна;  
Была ль другая перед нею —  
О том не ведает она:  
По небу много облак бродят,  
Но эти облака ея:  
Она ни следу не находит  
Отцветших вёсен бытия.*

*Не о былом вздыхают розы  
И соловей в ночи поёт,  
Благоухающие слёзы  
Не о былом Аврора льёт, —  
И страх кончины неизбежной  
Не светит с древа ни листа:  
Их жизнь, как океан безбрежный,  
Вся в настоящем разлита.*

*[Тютчев Ф. И. Весна]*

«Не о былом вздыхают розы//соловей в ночи поёт», а человек – сплошное воспоминание, и былое тесно переплетается у него с настоящим и кладёт свои тени, своё отмершее на минуту текущую. И как ни прекрасен май, «милый май», но он – повторение прежнего, и теряет свою ценность, свою свежесть монета жизни, когда-то блестящая, когда-то прекрасная.

Впрочем, если верить старому пастуху, играющему на «больной и испуганной» свирели, и сама природа уже не обновляется, она умирает, «всякая растения на убыль пошла, и миру не век вековать: пора и честь знать, только уж скорей бы! нечего канителить и

людей попусту мучить». Великий Пан умирает. После него остаётся беспросветное уныние. «Обидно на непорядок, который замечается в природе». Жалко мира. «Земля, лес, небо... тварь всякая – всё ведь это сотворено, приспособлено, во всём умственность есть. Пропадает всё ни за грош. А пуще всего людей жалко». И чувствуется для вселенной «близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда земля, как падшая женщина, которая одна сидит в тёмной комнате и старается не думать о прошлом, томится воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидает неизбежной зимы; когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется ещё печальнее, и по стволу её ползут слёзы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней» [С. 6, 37].

Чеховские лишние люди изнемогают под гнѐтом повторения, под тяжестью времени, и в этом заключается их нравственная слабость. Ибо душа богатая на однообразие внешнего мира отвечает разнообразием внутренних впечатлений, и непрерывно развёртывается ей бесконечный свиток. Недаром Кьеркегор моральную силу человека понимает как способность и любовь к повторению. Для датского мыслителя в первом, эстетическом, периоде жизни мы по ней порхаем, касаемся её поверхности то в одной, то в другой точке, всё пробуем, ничем не насыщаемся, бежим от всякой географической и психологической осѐдлости, в каждую минуту «имеем наготове дорожные сапоги»; мы требуем как можно больше любви, но не надо дружбы, не надо брака, и из каждой чаши сладостны только первые глотки. Этический же период характеризуется повторением, его символизирует брак, и тогда прельщает не пестрота чужой дали, а своё родное однообразие, и тогда душа становится глубокой в своей сосредоточенности.

Чеховские лишние люди не находят себе удовлетворения в этом втором периоде, не выдерживают искуса повторения, и жизнь протекает для них, как осенний дождь, удручающий в своей монотонной капели. Они не умеют взрастить своего внутреннего вишнёвого сада, и сиротливыми тенями идут они по миру. Изнеможенные повторением, его не осилившие сменой внутренних обновок, они пускают свою ладью на волю жизненных волн, потому что их собственная воля бледна и слаба; она, «как подстреленная птица, подняться хочет и не может». И в жизни, кипящей заботами и трудом, они ничего не делают.

Чехов любит изображать людей неделающих. Неделание проникает у него в самые разнообразные круги общества и даже в такую среду, демократическую и рабочую, где труд, казалось бы, является чем-то естественным. Студент Петя Трофимов зовѐт любимую девушку и всех людей к новой жизни, к новой работе, к необычному труду, но сам он никак не может кончить университетского курса, сам он ничем не занимается.

Лишние герои Чехова не веруют в дело своей жизни и плетутся по ней с потушенными огнями. Но только ли словом укоризны должны мы бросить в его неделающих людей? Или, быть может, их бездейственное отношение к миру в своём конечном основании имеет глубокий и глубоко-чистый источник?

К «неделанию» призывал нас ещё раньше великий писатель. Толстой не хотел, конечно, проповедовать лень, он не требовал от нас, чтобы мы праздно сложили бездельные руки и предоставили мир его собственному течению. Но он говорил нам, что шумная сутолока дела, работы, профессии отвлекает нас от мысли о великом и важном. Подхлѐстываемые бичом нужды и реальных потребностей, мы бежим по земле, всё время только строим жизнь, лепим из её глины свои хрупкие поделки, но о ней не думаем; мы только воздвигаем подмости для своей жизненной пьесы, и у нас уже не остаётся досуга и сил для того, чтобы сыграть её самоѐ. Нам некогда. В суете своего повседневного занятия и муравьиного строительства мы не размышляем о его последней цели и не предаѐмся бескорыстной вдумчивости. И на закате наших торопливых дней окажется, что, погруженные в своё дело, мы ни разу не взглянули жизни в её глубокие, в её загадочные глаза, и мы уйдѐм из мира без

миросозерцания, уйдём в тягостном недоумении, во имя чего мы работали не покладая рук и, склонённые к земле, никогда не смотрели в небеса?

Бесспорно, что подобные мысли о великом неделании должны были жить в созерцательной душе Чехова, и потому он отворачивался от «ненужных дел», из-за которых жизнь становится «бескрылой». Устами своего художника он требует, чтобы все люди имели также время «подумать о душе, о Боге, могли пошире проявить свои духовные способности». Он любил «умное, хорошее легкомыслие», он рад за чудного старика о. Христофора, всю свою жизнь не знавшего ни одного такого дела, «которое, как удав, могло бы сковать его жизнь».

Кроме того, делают деятели, но делают и дельцы. Чехов дорог тем, что он не любит в человеке дельца. Он презирает «деловой фанатизм», который заставляет не только дядю Егорушки, но и богатого Варламова озабоченно кружиться по степи, между тем как эта степь исполнена такой волшебной красоты, таких несравненных очарований. Но за отарами овец, за туманом житейских расчётов её не чувствуют, не замечают, и обиженная степь, тоскуя, сознаёт, что «она одинока, что богатство её и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь её тоскливый, безнадёжный призыв: певца! певца!» Поэт Чехов услышал этот призыв и воспел её дивными словами, но всё же степь находится в плену у плантаторов и дельцов, у Варламова, у тех, кто кружится по ней в деловой пляске хозяйственной заботы.

Да, Чехов как будто не любил, не понимал дела. Он не любил деятеля, который себя сознаёт и ценит, который хлопочет; он не любил строгой Лиды, которая бедным помогала вовсе не так грациозно и поэтически, как пушкинская Татьяна, и благодаря которой «на последних земских выборах прокатали Балагина». Он не воплотил гармонии между делом и мыслью, и в конце жизни знаменитого профессора, выдающегося деятеля, оказывается, что он не имел общей идеи, бога живого человека, что дух его как будто не участвовал в искусной работе его знаний и таланта. Дело рисовалось Чехову в образе дельца, в неприглядном виде Боркина, антипода Иванову; дело символизировалось для него ключами от хозяйства, кружовенным вареньем, которое столь удобно для экономического угощения и которое, в конце концов, пропадает, засахаривается, как у Варвары из «Оврага». В каждом деле он чувствовал неприятный оттенок хлопотливости и суеты, привкус какого-то шумного беспокойства, которое недостойно медлительной и величавой думы человека. И хозяйству, делачеству он противопоставлял не деятельность, а безделие. Деловитость весела, жизнерадостна, пошла, как Боркин, или же она тупа своей «бездарной и безжалостной честностью», как доктор Львов или фон Корен, а безделие изящно, меланхолично, грустно, и оно поднимает своих жрецов высоко над суетливой толпой.

Но Чехов и сам чувствовал, как несправедливо такое распределение психологических красок; он сознавал, что не Боркиными ограничивается дело жизни и что далеко не все лишние люди – люди желанные. У него есть и случайные, правда, силуэты настоящих деятелей, – например, не похож на Боркина и не похож на доктора Львова тот, другой, прекрасный доктор из «Беглеца», который своей притворной суровостью трогательно маскировал свою бесконечную доброту и ласку к бедному мальчику Пашке и, вероятно, ко всем бедным мальчикам на свете. И, что ещё важнее, Чехов сам не раз карал себя за своё художественное пристрастие к тоскующим героям безделия и безволия. Ведь это он написал почти карикатурный образ Лаевского из «Дуэли», ведь это у него Иванов горько насмехается над своей «гнусной меланхолией», над игрой в Гамлета. Медленной походкой идёт чеховский Иванов по жизни, и от его мёртвого прикосновения гибнут женщины; земля его глядит на него «как сирота», вся русская земля глядит на него как сирота и ждёт не дожждётся его, – а он, ленивый и вялый, позорно жалуется на своё переутомление, на то, что поднял он бремя непосильное и не соблюл душевной гигиены. Он не только лишний. Он не кроток, как лишний Обломов: последний только сам лёг в безвременную могилу, он никого не оскорбил, никого не убил, а

Иванов в измождённое лицо своей жены бросил «жидовку» и бросил смертный приговор. И доктор Андрей Ефимович тоже не был деятелем; он много читал, он много думал, но в жизни он не принимал участия и оставался равнодушным зрителем того, что делалось в палате № 6, где над стихийным ужасом люди воздвигли ещё своё искусственное и ненужное страдание, поставили сторожа Никиту, «скопилы насилие всего мира». Из-за того, что он не мог одолеть всего зла и насилия в мире, он и в окружающую жизнь не вносил ни крупинки добра, и, когда Иван Дмитрич, великий страстотерпец номера шестого, разрывая жалостью всякое сердце, в минуту просветления мечтательно говорит, что давно уже он не жил по-человечески, что хорошо было бы теперь проехаться в коляске куда-нибудь за город и потом полегчить от головной боли, – Андрей Ефимович в своём преступном неделании, подавленный рассуждениями, не свёз бедного мученика за город подышать весной и не стал лечить его от головной боли. . . Вообще, Чехов самоотверженно показал в близком ему лишнем человеке всё, что есть в нём отрицательного и жестокого, всё, что есть в нём злополучного для себя и для других. Чехов знает всё, что можно сказать против лишних, – особенно там, где нужны столь многие, где нужно столь многое.

И всё же иные его лишние в основном направлении и настроении своего духа выше полезных. Они погружены в неделание потому, что не спешат воспользоваться жизнью; они созерцают, они думают о ней, они чувствуют её и тихо приближаются к её фактическому содержанию, – а торопливая жизнь между тем ускользает, и они оказываются ненужными, обойдёнными: и вишнёвые сады, и женские сердца переходят в другие, более расторопные и цепкие руки. Жизнь не терпит раздумья, созерцания, мысли; нет, она говорит человеку: «Люби меня без размышлений, без тоски, без думы роковой». И непосредственные натуры жадно прикипают к ней своими немудрствующими устами. В этом, быть может, есть особая красота и мудрость, но это вырождается и в животную привязанность к текущей минуте, к заботе и злобе дня; это – источник всякого мещанства, пошлости и рутины. И кто торопится навстречу жизни, тот не станет думать о том, что будет через двести – триста лет, а лишние об этом думают и тем бесконечно возвышаются над жизнелюбивой толпой. Они не рассчитывают себе дороги в сутолоке человеческого торжища, они не толкаются и не «размахивают руками». Они – аристократы духа, и в них таится благородное наследие датского принца. В траурных одеждах своей «тоски и думы роковой» не спеша идут они среди торопливых и, занятые своим внутренним миром, не замечают пёстрога говора жизни. Воля, направленная на внешнее дело, тихо дремлет у них, зато не умолкает нежное, тонкое чувство, и, «прижавшись к праху в сознание горького бессилия», они тоскуют по высшей красоте и правде. Они не удовлетворены, и благо им за их великую неудовлетворённость! Они тяготеют к идеалу, к своей нравственной Москве, и если, правда, и не прилагают мощных усилий к тому, чтобы осуществить свои «бескрылые желания», если из-за этого они не деятели, то уже во всяком случае они и не дельцы, не практики. На шумном торжище людской корысти, среди крикливых и суетливых, среди расчётливых и умудрённых они оказываются лишними людьми. Но как «премудрость мира – безумье перед судом Творца» и не Марфа, пекущаяся о многом, а Мария знает единое на потребу, так, быть может, на иную, высшую оценку и эти лишние окажутся наиболее нужными.

И не будем их карать: ведь они сами, они первые падают жертвами безволия. Жизнь сама их наказывает, и они гибнут. Простим их бездеятельность. 22 августа продадут их вишнёвый сад, – люди дела предупреждают их об этом, советуют что-нибудь предпринять: «думайте, думайте!» Но они не думают. Для каждого из нас настанет своё 22 августа, день расплаты, день разлуки, – но мы боремся против его грозящей тени и всячески его отодвигаем. А лишние люди Чехова безропотно идут к нему навстречу. И 22 августа продадут их сад, их дом, «старого дедушку», – а ведь расстаться с домом – это значит разбить свою душу, потому что «милый, наивный, старый» дом Чехов всегда изображает как гнездо челове-

ской души (он «много видал их на своём веку, – больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых»); живыми глазами смотрят на него окна мезонина, и на вещах оседает безмолвный отпечаток наших интимных переживаний. Доктор Андрей Ефимович не прав в своём безучастии к делу жизни, но ведь его и сразила жизненная немезида; такой поклонник ума, он стал безумен и сам попал в № 6, от которой никому нельзя зарекаться, и там он погиб от ударов сторожа Никиты и от мучений своей проснувшейся совести, которая оказалась такой же «несговорчивой и грубой», как и жестокий сторож. Не бросим камня в бездеятельного Иванова: он уже наказан, он сам вычеркнул себя из списка живых и застрелил себя в день своей свадьбы. И за то, что художник был празден, за то, что он был только пейзажист, Лида, жестокая в своей деловитости, услала от него прелестную Женю, его маленькую бледную королеву, которую он нежно целовал в грустную августовскую ночь, когда светила луна и пугали обильно падавшие звёзды; и вот он теперь один, праздный пейзажист, и в тоске своего одиночества он зовёт свою любовь: «Мисюсь, где ты?» Ему кажется, что она вспоминает о нём, что она его ждёт, – но, может быть, Лида выдала её замуж за человека деятельного, за энергетичного земца?...

Так лишние за своё безделие и безволие находят себе кару. И тем более привлекают они к себе. Наивные и бескорыстные, они ушли от суеты, – «не размахивают руками и бросили в колодезь ключи от хозяйства». Как Соломон из «Степи», спаливший в печке свои деньги и за это ославленный сумасшедшим, они своё безучастие к жизни искупили своим страданием и своей нравственной чистотой. Чехов вложил им в души глубокое пренебрежение к выгоде и житейскому расчёту. Они действительно отбросили ключи от хозяйства, эти страшные ключи, которые гремят на поясе у хозяйки и гремучими змеями проникают в сердце, отравляя чувства и помыслы. Они знают, что, когда Бог призовет к себе старого Фёдора Степановича («Три года»), Он спросит его не о том, как он торговал и хорошо ли шли его дела, а о том, был ли он милостив к людям. Для них мучительно смотреть, как экономная тётя Даша, звеня браслетами на обеих крепких и деспотических руках, носится по своей хозяйственной державе, с очень серьёзным лицом целый день варит варенье и целый день заставляет прислугу бегать и хлопотать около этого варенья, «которое будет есть не она», прислуга. Лишние люди не сеют и не жнут, но зато они и не хозяйничают. А для их духовного творца, Чехова, быть может, нет фигуры более пошлой, чем именно хозяин. Но, писатель возвышенного, он показал хозяйство не только в его обыденных низинах, не только в его чичиковской неприглядности, – он явил его нам и в ореоле кровавом, в отблеске зловещего. Аксинья из «Оврага» – это воплощённое хозяйство в его трагизме, это кульминация деловитости в её ужасе. Аксинья – хозяйка-преступница. «Красивое, гордое животное», «змея, выглядывающая из молодой ржи», она рано встаёт, поздно ложится и весь день бегаёт в погреба, амбары и лавку, гремя ключами; и ради них, ради этих ключей, она обварила кипятком ребёнка Липы, единственное достояние кроткой, безответной, бесхозяйственной женщины, и после этого «послышался крик, какого ещё никогда не слыхали в Уклееве», от какого, быть может, ещё никогда не содрогалось и сердце русского читателя... И обваренный кипятком маленький Никифор, душа которого носится вверх, около звёзд, расскажет Богу, что творится на суетной земле, что делает на ней хозяйство. И в конце концов хозяйство гибнет; оно распадается, – всё равно, в поэтической ли форме вишнёвого сада или в грязной лавке Цыбукина, который в конце своей тёмной торгашеской жизни не умеет отличить настоящих рублей от фальшивых, подаренных ему родным сыном. В конце хозяйственной жизни, при её тусклом и неправедном свете, нельзя отличить истины от лжи. Оттого лишние люди и не этим жалким светочем руководятся в своём бездомном и чистом существовании. И всем завещают они освободить свою душу от мелочных забот, от бессмертной пошлости и прозы, от хозяйственного сора: печально уходя из ставшего чужим вишнёвого сада, они оставляют глубокий завет – бросить в колодезь ключи от хозяйства.

Непрактичные и неспособные к делу, лишние люди Чехова любят слова – тёплые, высокие, хорошие слова, которые живут в каждой человеческой груди, но целомудренно прячутся, потому что окружающая жизнь примет их удивлённо и холодно, – ей довольно слов будничных и обыкновенных. Между тем хочется говорить. Хочется говорить о чём-нибудь великом и важном, «о Шиллере, о славе, о любви». Душа взволнована и жаждет слова. Из рамок временного и низменного стремится она к высокому: это – один из обычных мотивов чеховской музыки. И он находит себе осуществление не в тех умных разговорах и речах, которые нередко встречаются на страницах у Чехова, недостаточно глубокие и оригинальные: нет, сказывается преимущественно в том чарующем лиризме и в тех порывах к вечному, которые осеняют его героев.

Но в чеховском городе, среди людей, «говорящих свою чепуху» и записывающих свои мысли в жалобную книгу мудрости обывателей, – с кем же можно говорить о Шиллере, о славе, о любви? В пошлом царстве кто же отзовется на такой разговор? Для того чтобы удовлетворить свою тоску по возвышенной беседе, своё желание говорить и слышать великие слова, надо уйти от здоровых и счастливых, надо уйти от нормальных в палату № 6. Только там, среди безумных и несчастных, доктор Андрей Ефимович, которому часто снились умные люди и беседы, говорил и слышал то, что нужно человеческому духу; только там, в зловещей палате страдания и кошмара, нашёл он сердце и великодушие, которых не было в городе; и из одних безумных, но благородных уст изливались там пламенные речи о «насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решётках, напоминающих каждую минуту о тупости и жестокости насильников» [С. 8, 74], – и получалось «беспорядочное, нескладное попури из старых, но ещё недопетых песен».

И Коврин тоже сетовал, что у него похитили счастье безумия. Он упрекал своих родных, что его лечили, что благодаря этому исчезли для него экстаз и вдохновение и перестал к нему являться в рамке смерча бледный чёрный монах со скрещёнными руками на груди и, в благословенной галлюцинации, перестал говорить ему дивные речи о том, что он, Коврин, гениален, что он бессмертен, что великий удел ожидает человечество. Коврин хотел безумия, искал миража. Правда, в свои предсмертные мгновения он возжаждал нормального, простого, «он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, звал жизнь, которая была так прекрасна».

И Чехов тоже звал жизнь, и для него она тоже была прекрасна. В этом заключается его благородное и великое своеобразие. Писатель сумерек, он страстно любил солнце, и в мир пришёл он, говоря словами поэта, чтоб видеть это солнце и синий кругозор. Он не потому грустит, чтобы действительность представлялась ему как нечто мрачное и зловещее в своей глубине. Он не брюзга и не пессимист. Затаённая, застенчивая радость жизни переливается в его произведениях, и никто тоньше него не понимал и не чувствовал всего, что есть на земле поэтического и отрадного. В лунном свете меланхолии, в её задумчивом колорите изобразил он мир, но мир приобрёл от этого только новую красоту. Ведь «так хорош и мягок лунный свет», и чарует его даже его «колыбель» – кладбище с белыми крестами и памятниками; на кладбище «в глубоком смирении смотрят с неба звёзды, сонные деревья склоняют свои ветви над белым, и здесь нет жизни, нет и нет, но в каждом тёмном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». И среди могил думается о прекрасном, о живом: «сколько здесь зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке, и белеют уже не куски мрамора, а прекрасные тела, которые стыдливо прячутся в тени деревьев»... [С. 10, 31–32]

Чехов имел, как он выражается, продолжительные очные ставки с тихими летними ночами; он любил ту природу, которая боится «проспать свои лучшие мгновения»; он любил те минуты её, когда накануне праздника «собираются отдыхать и поле, и лес, и солнце, – отдыхать, быть может, молиться»; и когда он проезжал по унылой степи мира, ему приходили на память степные легенды, все прекрасные грёзы, которыми живёт и дышит мир, все пленительные сказки бытия, и тогда в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы – во всём, что видел и слышал, чудились ему «торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни, – душа давала отклик прекрасной, суровой родине, и хотелось лететь вместе с ночной птицей»[С. 7, 46].

Полёт ночной птицы над заснувшей землёю быть ему вообще отраден и дорог, потому что, кроме солнца, любил он и ночь, «благополучную ночь», когда «ангелы-хранители, застилая горизонт своими крыльями, располагаются на ночлег» и когда грезится Чехову какой-то млечный путь из человеческих душ. Он знал мистику ночи, и были понятны ему тютчевские мотивы, стихийное веяние космического. «Златотканый покров» дня, сияющую ткань его парчи, распускает ночью мировая Пенелопа, и вселенная от этого являет иное зрелище. Ночью мир не пошл. Ночью с него спадает денная чешуя обыденности и он становится глубже и таинственнее; вместе с звёздами ярче и чище загораются огоньки человеческих сердец, – ведь «настоящая, самая интересная жизнь у каждого человека проходит под покровом тайны, как под покровом ночи», и Чехов вообще понимал людей глубже, чем они кажутся себе и другим. Ночью земля принимает загадочные очертания, и все будничные предметы, всю спокойную прозу современности душа претворяет в идеальное. Далёкие огни в поле напоминают лагерь филистимлян; мнутся великаны и колесницы, запряжённые шестёрками диких бешеных коней: в жизнь переходят рисунки из Священной истории, и встречаемых во тьме спрашивает Липа: «Вы святые?» – и те, не удивлённые, отвечают: «Нет, мы из Фирсанова». Глубокий, истинный мир ночного разрушает все пределы времени и пространства. Сближаются настоящее и прошлое. Одинокий огонь костра бросает свой мистический свет на далёкое, на ушедшее, и в нынешнюю ночь, близкую к Пасхе, воскресает другая, давнишняя, памятная миру ночь в Гефсиманском саду, – «воображаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания»: то рыдает Пётр, трижды отрёкшийся от Христа. А в пасхальную ночь Чехов поминает того монаха Николая, «симпатичного, поэтического человека», который выходил «по ночам переключаться с Иеронимом и пересыпал свои акафисты цветами, звёздами и лучами солнца»; он был не понят и одинок – мечтает Чехов – у него были мягкие, кроткие и грустные черты лица, и в его глазах светилась ласка и едва сдерживаемая детская восторженность. Чехов с невыразимой нежностью понимает всю скорбь смиренного Иеронима, который потерял в неизвестном сочинителе акафистов своего друга и теперь, в святую ночь, должен перевозить на пароме богомольцев, вместо того чтобы самому быть в церкви, слушать песнопения и «жадно пить своей чуткой душой красоту святой фразы». Чехов понимает его, потому что и сам он своей чуткой душой тоскует по сладкой и нежной красоте акафиста. И он тоже хотел бы воспеть его миру, пересыпать его цветами, звёздами и лучами солнца, «чтобы в каждой строчечке была мягкость и ласковость»...[С. 5, 92-104]

И вообще в глазах Чехова, в его печальных глазах, мир был достоин акафиста. Чехов знал всю неуловимую отраду жизни, всё обаяние молодости, всю негу страсти и любви, неотразимой и непобедимой, и прелесть утра, и наивную красоту и умиление ребёнка, и вечно свежий росистый сад, и уют родного дома, и тонкие руки девушки, просвечивающие сквозь широкие кисейные рукава, и восторженную душу шестнадцатилетней Нади Зелениной, которая вернулась из театра после «Евгения Онегина» и вся дышит искромётным счастьем, вся полна молодого смеха. По его произведениям разлита беспредельная нежность человеческих отношений, и все эти сёстры и братья, невесты и возлюбленные, дяди и пле-

мянницы говорят у него друг другу такие сладкие и ласковые слова, от которых замирает очарованное сердце, – слова, за которые полюбила Константина из «Степи» три года не любившая его красавица. И эту же нежность переносит он и на природу, и ему кажется, что даже «сонные тюльпаны и ирисы тянутся из тёмной травы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви»...

Всё это он знал и чувствовал, любил и благословлял. Всё это он опажнул своей лаской и озарил тихой улыбкой своего юмора. И в то же время на него глядела «тонкая красота человеческого горя» [С. 6, 33] и вся его глубина; и в то же время он был на Сахалине и видел самый предел человеческого унижения и несчастья, – и Сахалин был для него островом только географически, а в нравственном смысле ведь это всё тот же материк нашей злополучной жизни, нашей духовной каторги.

«Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу... У самого пруда в кустах, за посёлком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и всё сбивалась со счёта, и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: „И ты такова! И ты такова!“ Какой был шум!казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь даётся только раз!.. О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому всё равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы»... [С. 10, 172–173] «на человеческом языке и назвать трудно» [С. 7, 339], – а в это время (мы уже видели) в глубине океана происходит встреча Гусева и акулы.

Какой же здесь возможен синтез и как дать миру общую оценку, вынести ему определённый приговор? Вы чувствуете, что где-то здесь, поблизости, в степи, в непосредственном соседстве с вами, есть клад, есть счастье, но как его найти? Или счастье фантастично? И существует оно где-то вне жизни? Быть может, в самом деле от прикосновения к реальности блёкнет всякий идеал и «надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с её цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо?» [С. 9, 324]. Момент внежизненного, постороннего, момент созерцательного отношения к жизни ведь так часто встречается у Чехова.

Он не оставил цельного мировоззрения, и нам приходится самим выбирать между той радостью и той горестью жизни, которые он одинаково изобразил в своих книгах. Для ума здесь остаётся великое недоумение, и спокойные цвета океана, природу ликующую или природу равнодушную мы не можем примирить с тоскою и скорбью, с немолчным беспокойством человека. «Если бы знать... если бы знать...» – вздыхают сёстры. Порывы к вечному, которое лучезарно, проникающая мир красота, – и плен у смерти и ужаса, плен у временного и пошлого, которое так опасно для духа: через эту бездну, через это роковое зияние может перекинуть мост одна только вера.

И знаменательно то несомненное, что не те, кто стоит на берегу и видит чужую гибель, но сами гибнущие, сами страдающие всё-таки славят у Чехова жизнь, надеются на неё и трогательно питают к ней глубокое доверие. В тихую ночь утихает даже безмерное горе Липы, в тихую и прекрасную ночь верится, что, как ни велико зло, «всё же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и всё на земле только ждёт, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью».

Всё на земле ждёт слияния с правдой и милосердием. И девушка, у которой разбили сердце, которая пережила застенчивую обиду и горе дурнушки, находит в себе силы для того, чтобы утешать другого несчастного, своего дядю Ваню. Она верует, верует горячо, страстно. И она кладёт свою утомлённую голову на руки дяди и уверяет его, что Бог сжалится над ним,

что они с умилением и улыбкой оглянутся на свои теперешние несчастья, – они отдохнут. «Мы отдохнём! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах... Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнём. Мы отдохнём» [С. 13, 116].

Всё человечество, как бедный дядя Ваня, не знало в своей жизни радостей, – оно утомлено за свои долгие и страдальческие века. Его усталость Чехов изобразил в красках великой печали. Но Чехов верил в бессмертный отдых человечества.

И сам он теперь отдохнул. Он отдохнул от грубости, которая оскорбляла его, от человеческой скорби, которой питался его дух, от смешного и горького, – он отдохнул.

И мы теперь не знаем, нам Чехов не скажет, действительно ли он увидел небо в алмазах, действительно ли он услышал пение ангелов. Кто уходит из жизни, тот уносит с собою великую тайну, великую разгадку тайны... Но одно уже он сказал нам на маленьких страницах своих глубоких творений: он сказал, что хотя и нависла над жизнью зловещая туча нелепицы и несчастья, хотя всяческие ключи от хозяйства замыкают душу для бескорыстного и вечного, для высокого и радостного, но сквозь этот злой туман обыденности проникают и смотрятся алмазы небесных звёзд, алмазы благодатных идеалов, и по ним великой тоскою неудовлетворённая и неудовлетворимая человеческая душа. И мы знаем ещё, что отныне, среди этих светил, тихими и кроткими лучами грусти и упования будет нежно сиять над одною землёю образ Чехова, незакатная звезда его чистого имени...

Печатается по тексту: Чехов. Основные моменты творчества //Памяти А. П. Чехова. – М.: ОЛРС, 1905. – С. 3–40.

## **В. В. Каллаш**

### **Литературные дебюты А. П. Чехова (критико-библиографический очерк)**

#### I

Непроходимая пошлость нашей юмористической журналистики давно уже вошла в поговорку. Когда цензура своим мертвящим прессом выжала из неё все политические темы, она сразу выцвела и опошлела; замолк бойкий, смелый, влиятельный смех «Искры», и на смену ему пришло однообразное и тяжеловесное высмеиванье сварливых тещ, обманутых мужей, лживых охотников...

Если порою, случайно, на страницах журналов появлялись талантливое слово, действительно остроумные выходки, они как-то резали глаз, благодаря своей необычности и случайности среди целого моря пошлости и бездарности.

Таковыми оазисами, яркими вспышками молодого, заразительного смеха на убогих, в общем, страницах наших юмористических изданий 80-х годов были очерки и наброски Чехонте. Он знал, над чем смеялся, глубоко забирал в самую гущу всероссийской пошлости, и «весёлые картинки» брызжущего смеха юмориста, уже тогда зачастую проникнутые грустью, обращались в знаменательные документы нашей общественной жизни...

«Взыскательный художник», он ввёл в собрание своих сочинений немногие из своих ранних литературных опытов. Но нам, «современникам его славы», поклонникам его тонкого и гибкого таланта, должны быть дороги мелкие черты, указывающие на самый процесс его развития, при всей даже слабости и неопределённости отдельных рассказов, которыми он дебютировал в литературе. Собрать их теперь легко – пока живо так много близких к нему людей, пока ещё свежа память о нём и так остро чувствуется «неотразимая обида» его безвременной смерти...

В «Стрекозе» (1880 г. № 2. С. 8) в почтовом ящике напечатано: «Москва, Драчёвка. А. Чехову. Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем и на дальнейшее подвижничество».

Шутливое выражение «подвижничество» нечаянно для его автора обратилось в предсказание будущей судьбы, загорающейся литературной жизни...

Статья была напечатана без подписи и пока нами не может быть указана.

В почтовом же ящике № 7 (С. 8) редакция извещает «г. Ан. Че-ва» (по тому же адресу), что она воспользовалась какою-то «мелочью» и отклоняет «Прошение», как «длинное и натянутое», в № 10 соглашается поместить «вторую статейку» и отклоняет «Ужасный сон», который «тем только и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы». «Вторая статейка» подписана «Антоша» (№ 10. С. 7): «Что чаще встречается в романах, повестях и т. д.?»

В смехе Чехова над романтическими трафаретами и банальностями уже проглядывает столь типичная для него боязнь фразы, литературной «нарочитости» и напряжённости.

«Чаще всего встречается в романах» – «Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная... непонятная, одним словом: природа!!!»

«Белокурые друзья и рыжие враги».

«Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть».

«Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис, часто имеет палку с набалдашником и лысину».

В № 15 редакция соглашается принять рассказ – «пойдёт: ничего, недурён» и отклоняет «Опыт изложения», потому что он «злоупотребляет старым мотивом». 18-й № откладывает печатание рассказа: «Очерк подождёт до лета» – и отклоняет два других рассказа: «Несколько острот не искупают непроходимо пустого словотолчения. Мы говорим о „Ничего не начинай“. То же о „Легенде“. Кстати, что это за имя такое „Фуня“?»

В № 19 помещён с подписью «Чехонте» рассказ «За двумя погонишься, ни одного не поймаешь» (роман в одной части без пролога и эпилога). Он очень слаб. Изображается майор Щелколов, который захотел проучить почему-то плёткой в лодке свою молоденькую жену за то, что в разговоре (подслушанном майором) со своим двоюродным братцем призналась, что ненавидит мужа, и бранила его. Лодка перевернулась. Щелколовы начали тонуть. Спасать их поплыл волостной писарь, который не знал, за кого именно раньше приняться. Щелколов молил кинуть жену и спасти его, за что обещал жениться на сестре писаря. Щелколова обещает за спасение сама выйти замуж за него. Писарь, увлечшись и тем и другим обещанием, спасает обоих – и получает одни только неприятности.

Начало следующего рассказа – «Папаша» (№ 26, подпись «Ан. Ч.») – совершенно чеховское.

«Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе её с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру, но мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

– Пампушка, – сказала она, садясь на папашины колени, – я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

– Что тебе? – спросил он.

– Вот что, папочка! Что нам делать с нашим сыном?

– А что такое?

– А ты не знаешь? Боже мой! Как вы, отцы, беспечны. Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом, наконец, если не хочешь... не можешь быть мужем!»

По настоянию мамы папаша отправляется к учителю арифметики, поставившему двойку, и наседает на него.

Тот отказывается.

«– Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни повернуть дело. Не могу!»

Папаша мигнул одним глазом.

– Можете, Иван Фёдорович! Иван Фёдорович! Не будем долго рассказывать. Не таково дело, чтобы о нём три часа балясы точить... Вы скажите мне, что вы по-своему, по-учёному считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Фёдорович, без экивок. Вы ведь с намерением поставили двойку... Где же тут справедливость?<...> С намерением, – продолжал папаша. – Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе! Что же? Извольте!.. Я согласен... Ему же дань-дань... Понимаю службу, как видите... Как ни прогрессируйте там, а... всё-таки, знаете... Ммда... Старые обычаи лучше всего, полезнее... Чем богат, тем и рад.

– Вы, – продолжал папаша, – не конфузьтесь... Ведь я понимаю... Кто говорит, что не берёт, – тот берёт... Кто теперь не берёт? Нельзя, батенька, не брать... Не привыкли ещё, значит? Пожалуйте-с!»

Учитель всё-таки не взял. Папаша взял его измором и добился своего.

«В тот день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после неё сидела горничная). Папаша уверял её, что „сын наш“ перейдёт и что учёных людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло... Он преуспел. Пример заразителен»...

Прелестная ирония над романтическим фразёрством Гюго в рассказе «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь, роман в одной части с эпилогом, посвящаю Виктору Гюго» (№ 30, Антон Ч.)

«На башне св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Тёмная ночь – это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужащающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством».

Рассказчик, Антонио, сбрасывает своего соперника Теодора в жерло потухшего вулкана.

«Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть <...>

– Проклятие!!! – закричал он в ответ на моё проклятие. Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины – величественная, грандиозная и поучительная картина. Недоставало только лавы».

За компанию Антонио убивает возницу, привезшего их к вулкану, и лошадей.

«Лошади радостно заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы, и освобождение от оков».

«Через три часа после мщениия я был у дверей её квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до её дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюблённого – четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на неё. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил её. Я убил её. Лучше умереть, чем жить без рассудка».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.